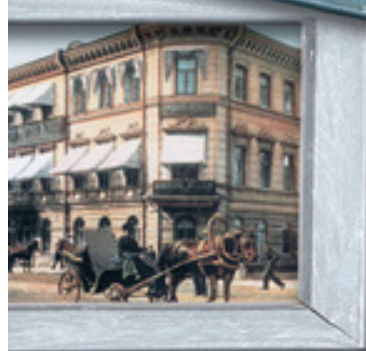


В.А. Гиляровский



# Всё о Москве

Сборник

Владимир Гиляровский  
**Все о Москве (сборник)**

«Издательство АСТ»

## **Гиляровский В. А.**

Все о Москве (сборник) / В. А. Гиляровский — «Издательство АСТ»,

Каким увидят наш город лет через 100 наши потомки? Кинофильмы, репортажи, картины... Что выберут они за основу для его изучения? Нам несказанно повезло... Мы можем посмотреть на него глазами талантливого журналиста Владимира Гиляровского. Наверное, на современном сленге его можно было бы назвать папарацци, так как совал он свой любопытный нос не только в элитные кварталы, но и в ночлежки, трущобы, рынки... Жизнью своей рисковал ради достоверного, стоящего репортажа. Читателям более известно его произведение «Москва и москвичи», а теперь мы предлагаем сборник «Все о Москве». Увлекательные, интересные, скандальные репортажи и рассказы помогут вам по-другому взглянуть на историю нашего города. По достоинству оцените каждый дом, каждую улицу, как историческое наследие, как подарок от наших предков!

© Гиляровский В. А.

© Издательство АСТ

## Содержание

Москва газетная	5
Редакторы	5
«Русские ведомости»	9
«Русская газета»	37
«Современные известия»	40
«Московский телеграф»	42
«Русский курьер»	44
«Новости дня»	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Владимир Гиляровский

## Все о Москве (сборник)

### Москва газетная

#### Редакторы

В начале моей литературной работы в Москве прочных старых газет было только две. Это «Московские ведомости» – казенный правительственный орган, и либеральные «Русские ведомости». Это были два полюса.

Таковы же были и два московских толстых журнала – «Русский вестник», издававшийся редактором «Московских ведомостей» М. Н. Катковым, и «Русская мысль» В. М. Лаврова, близкая к «Русским ведомостям». А потом ряд второстепенных изданий.

Оглядываясь на свое прошлое теперь, через много лет, я ишу: какая самая яркая бытовая, чисто московская фигура среди московских редакторов газет конца прошлого века? Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков? – Вечная тема для либеральных остряков, убежденный слуга правительства. Сменивший его С. А. Петровский? – О нем только говорили, как о счастливом игроке на бирже.

И. С. Аксаков – редактор «Руси». Не популярен со своим славянофильским журналом.

В. М. Соболевский – «Русские ведомости» – был популярен только между читателями этой газеты – профессорами, земцами, молодыми судейскими и либеральными думцами. Но вся Москва его не знала.

Н. П. Гиляров-Платонов – ученый, был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а некрупная популярность его «Современных известий» была создана только обличителем-фельетонистом.

П. Н. Ланин – прекрасный заводчик шипучих искусственных минеральных вод и ничемный редактор либерально-шипучего «Русского курьера», совсем не принятого Москвой.

Об остальных изданиях и говорить не приходится: уж очень незаметны они были.

Среди этого вырисовывается благодаря своей бытовой яркости и неповторимости только одна фигура создателя «Московского листка» Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

– Я сам себе предок!

Только единственная яркая бытовая фигура: безграмотный редактор на фоне такой же безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке.

Безграмотный редактор приучил читать свою безграмотную газету, приохотил к чтению охотнорядца, извозчика. Он – единственная бытовая фигура в газетном мире, выходец из народа, на котором теперь, издали, невольно останавливается глаз на фоне газет того времени.

Издали виднее: через три года по выходе «Московского листка» Н. И. Пастухов печатал сорок тысяч экземпляров газеты.

У полуторастолетних «Московских ведомостей», у газеты политической, к которой прислушивалась Европа, в это время выходило четыре тысячи номеров, из которых больше половины обязательных подписчиков. «Русских ведомостей» в этот же год печаталось меньше десяти тысяч, а издавались они в Москве уже двадцать лет.

«Московские ведомости» были правительственной газетой, обеспеченной обязательными казенными объявлениями, которые давали огромный доход арендатору их, но расходились они около трех-четырёх тысяч, и это было выгодно издателю, потому что каждый лишний подписчик является убытком: печать и бумага дороже стоили.



Газету выписывали только учреждения и некоторые отставные сановники, а частных подписчиков у нее никогда почти не было, да и было тогда не модно, даже неприлично, читать «Московские ведомости». На редактора газеты М. Н. Каткова либеральные газеты и петербургские юмористические журналы, где цензура была насчет его слабее, положительно «вешали собак» за его ретроградство.

Так, Д. Д. Минаев напечатал в сборнике своих стихов следующее:

С толпой журнальных кунаков  
Своим изданием, без сомненья,  
В России заменил Катков  
С успехом третье отделение.  
В доносах грязных изловчась,  
Он, если очень злобой дышит,  
Свою статью прочтет подчас  
И на себя донос напишет.

Из московских изданий позволяли себе полемизировать с М. Н. Катковым только «Русские ведомости» да иногда «Русский курьер» в первые три года издания, пока его редактировал В. А. Гольцев.

В московских юмористических журналах: «Будильнике», «Развлечении», а особенно в «Зрителе» – цензура вычеркивала всякое упоминание о М. Н. Каткове.

Помню, в 1882 году я дал четверостишие для «Будильника» по поводу памятника Пушкину: на Тверском бульваре, по одну сторону памятника жил обер-полицмейстер генерал Козлов, а по другую, тоже почти рядом, помещались «Московские ведомости» и квартира М. Н. Каткова:

...Как? Пушкин умер? Это вздор.  
Он жив! Он только снова  
Отдан под надзор  
Каткова и Козлова.

Редакция «Будильника» четверостишие даже и в набор не сдала. М. Н. Катков был священной особой для московского цензурного комитета, потому что все цензоры были воспитанниками Каткова и сотрудничали в «Московских ведомостях», чем были сильны и неприкосновенны. Их, как древних жрецов, писатели и журналисты редко лицецерели.

Первая встреча с сотрудником «Московских ведомостей» и одновременно цензором останется для меня навсегда незабвенной. На какой-то большой пирушке у Н. И. Пастухова, после обеда, за кофе с ликерами, я сидел рядом с сумским гусаром Н. П. Пашенным, совсем юношей, лихим наездником и лихим спортсменом, впоследствии знаменитым драматическим актером Рошиным-Инсаровым.

Подле него, красавца в полном смысле слова, поместился низенького роста неуклюжий рыжебородый человек в черном мешковатом сюртуке и, тыкая пальцем веснушчатой, покрытой рыжими волосами руки в грудь Н. П. Пашенного, ему что-то проповедовал.

Это был цензор Сергей Иванович Соколов, бывший семинарист, личный секретарь М. Н. Каткова.

– Вот эта рука десять лет работает под руководством самого Михаила Никифоровича Каткова.

Н. П. Пашенный, продолжая сидеть, ловким взмахом вольтижера положил свою ногу, в малиновых рейтузах и сапогах со шпорами, сверх руки С. И. Соколова, прижавши ее к столу, и, хлопая по колену, сказал:

– А эта нога три года работает под руководством полковника Клюге фон Клюгенау – первого наездника русской армии.

Горько заплакал личный секретарь М. Н. Каткова, цензор и постоянный сотрудник «Московских ведомостей». Потом дело кончилось миром.

Кроме своей газеты и «Московского листка», благодаря старому знакомству с Н. И. Пастуховым, цензор С. И. Соколов все остальные газеты считал вредными, а сотрудников их – врагами отечества.

Эта сцена мне памятна потому, что в тот вечер я воочию увидел первого сотрудника «Московских ведомостей» и первого живого цензора. Да и негде было видеть сотрудников «Московских ведомостей» – они как-то жили своей жизнью, не знали с сотрудниками других газет, и только один из них, театральный рецензент С. В. Флеров (Васильев), изящный и скромный, являлся на всех премьерах театров, но он ни по наружности, ни по взглядам, ни по статьям не был похож на своих соратников по изданию, «птенцов гнезда Каткова» со Страстного бульвара. Самого же М. Н. Каткова я так ни разу в жизни не видал. Он умер в 1887 году. После него стал редактором Петровский, очень друживший с супругами Витте и, кажется, больше интересовавшийся биржей, падением и повышением бумаг, чем газетой и политикой.

Газета помещалась на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара и печаталась в огромной университетской типографии, в которой дела шли блестяще, была даже школа наборщиков.

Первый «студенческий бунт» был вызван «Московскими ведомостями». До того времени Москва этого слова не знала и не слыхала. Если и бывали студенческие беспорядки, всегда академического характера, то они происходили только в стенах университета. Первые беспорядки, прогремевшие в Москве, были вызваны новым уставом, уничтожившим профессорскую автономию и удвоившим плату за слушание лекций, что оттесняло бедноту от слушания лекций, а тут, вслед за уставом, грянул циркуляр о введении обязательной для каждого студента новой формы: мундиры со шпагой, сюртуки, тужурки и пальто со светлыми гербовыми пуговицами и синими выпушками – бедноте не по карману!

Осенью 1884 года запыхали студенческие беспорядки, подогреты еще рядом статей в защиту правительства и обычными доносами «Московских ведомостей».

Под влиянием всего этого студенческие беспорядки в первый раз вырвались на улицу.

На сходке студенты постановили устроить демонстрацию газете. К семи часам вечера студенты кучками неожиданно с разных сторон пришли на Страстной бульвар и устроили грандиозный кошачий концерт перед окнами квартиры редактора М. Н. Каткова с разбитием в них стекол. Явилась полиция и конный жандармский дивизион. Это был в Москве первый случай такого выступления конных жандармов. Жандармы с нагайками носились по бульвару и обоим проездам, разгоняя демонстрацию. Попадало всякому – и студенту и нестуденту. Били кого попало и как попало. На мостовой валялись избитые в кровь. Жандармов сбивали с лошадей, и лошади носились без всадников.

Как сейчас помню высокого студента-кавказца, когда он вырвал жандарма из седла, вмиг очутился верхом и ускакал. На помощь жандармам примчалась сотня 1-го Донского казачьего полка, выстроилась поперек проездов и бульвара и, не шелохнувшись, стояла, а жандармы успели окружить толпу человек в двести, которую казаки и конвоировали до Бутырской тюрьмы.

В газетах на другой день появились казенные заметки, что студенты пошумели на Страстном бульваре и полтора из них было забрано и отведено в Бутырки.

Позднее во время всяких студенческих беспорядков обязательно хоть пару стекол разбивали в «Московских ведомостях», а в Татьянин день повторялись перед редакцией кошачьи концерты мирного характера.



## «Русские ведомости»

«Русские ведомости»!

– Наша профессорская газета, – называла ее либеральная интеллигенция.

– Крамольники! – шипели черносотенцы.

– Орган революционеров, – определил департамент полиции.

Газета имела своего определенного читателя. Коренная Москва, любившая легкое чтение и уголовную хронику, не читала ее.

Первый номер этой газеты вышел 3 сентября 1863 года. Подписка 3 рубля в год, три номера в неделю.

Основал ее писатель Н. Ф. Павлов и начал печатать в своей типографии в доме Клевезаль, против Мясницкой части. Секретарем редакции был Н. С. Скворцов, к которому, после смерти Павлова, в 1864 году перешла газета, – и сразу стала в оппозицию «Московским ведомостям» М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

В газете появились: Н. Щепкин, Н. Киселев, П. Самарин, А. Кошелев, Д. Шумахер, Н. Кетчер, М. Демидов, В. Кашкадамов и С. Гончаров, брат жены Пушкина. Это были либеральные гласные Городской думы, давшие своим появлением тон газете навсегда. Полемика с Катковым и Леонтьевым закончилась дуэлью между С. Н. Гончаровым и П. М. Леонтьевым в Петровском парке, причем оба вышли из-под выстрелов невредимыми, и в передовой статье «Русских ведомостей» было об этом случае напечатано:

«Судьбе было угодно, чтобы первое боевое крещение молодой газеты было вызвано горячей защитой новых учреждений общественного самоуправления и сопровождалось формулировкой с ее стороны высоких требований самой печати: свобода слова, сила знания, возвышенная идея и либеральная чистота. Вот путь, которым должна идти газета».

Н. С. Скворцов сумел привлечь лучшие литературные силы. Вошли в число постоянных сотрудников А. И. Урусов, впоследствии знаменитый адвокат, А. И. Чупров, В. М. Соболевский, А. С. Постников, А. П. Лукин, М. А. Саблин, В. С. Пагануцци, И. И. Янжул, Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, М. А. Воронов, А. И. Левитов, Г. И. Успенский.

Газета держала тот тон, который дала небольшая группа, спаянная общностью политических убеждений и научно-социальных взглядов, группа сотрудников газеты, бывших в 1873 году на Гейдельбергском съезде.

Разные люди перебивали за полувековую жизнь газеты, но газета осталась в руках той группы молодых ученых, которые случайно одновременно были за границей, в 1873 году, и собрались на съезд в Гейдельберг для обсуждения вопроса – что нужно делать?

И постановлено было на съезде добиваться конституции, как пути для демократического и социального обновления страны. В числе участников этого съезда были А. И. Чупров, А. С. Постников и В. М. Соболевский, молодые приват-доценты, с студенчества своего сотрудники «Русских ведомостей», которые, вернувшись из Гейдельберга, выработали программу газеты по решениям съезда. Она была отпечатана на правах рукописи, роздана сотрудникам и неукоснительно применялась. В конце 70-х годов примкнули к газете П. Д. Боборыкин, С. Н. Южаков, С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский, В. А. Гольцев и писатели-народники Н. Н. Златовратский и Ф. Д. Нефедов, а затем Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг, Г. А. Джаншиев, С. Ф. Фортунатов.

С 1868 года газета стала ежедневной без предварительной цензуры, а с 1871 года увеличилась в размере и подписка была 7 рублей в год.

Редакция и типография помещались тогда в доме Делонэ в Никольском переулке на Арбате.

Если я позволил себе привести это прошлое газеты, то только для того, чтобы показать, что «Русские ведомости» с самого рождения своего были идейной газетой, а не случайным

коммерческим или рекламным предприятием. Они являлись противовесом казенным правительственным «Московским ведомостям».

\* \* \*

После смерти редактора Н. С. Сковрцова, талантливого и идейного журналиста, материальное состояние газеты было затруднительным. В. М. Соболевский, ставший фактическим владельцем газеты, предложил всем своим ближайшим сотрудникам образовать товарищество для продолжения издания. Его предложение приняли десять человек, которые и явились учредителями издательского паевого товарищества «Русских ведомостей».

В состав учредителей вошли вместе с В. М. Соболевским его товарищи по выработке основной программы газеты – А. С. Постников и А. И. Чупров, затем три ближайших помощника его по ведению дела в конце 70-х и начале 80-х годов – Д. Н. Анучин, П. И. Блаرامберг и В. Ю. Скалон и еще пять постоянных сотрудников – М. Е. Богданов, Г. А. Джаншиев, А. П. Лукин, В. С. Пагануцци и М. А. Саблин.

Составилась работоспособная редакция, а средств для издания было мало. Откликнулся на поддержку идейной газеты крупный железнодорожник В. К. фон Мекк и дал необходимую крупную сумму. Успех издания рос. Начали приглашаться лучшие силы русской литературы, и 80-е годы можно считать самым блестящим временем газеты, с каждым днем все больше и больше завоевывавшей успех. Действительно, газета составлялась великолепно и оживилась свежестью информации, на что прежде мало обращалось внимания.

Я был приглашен для оживления московского отдела газеты. Сразу мне предложили настолько хорошие условия, что я, будучи обеспечен, мог все силы отдать излюбленному мной живому репортерскому делу.

Редакция тогда помещалась в доме Мецгера, в Юшковом переулке на Мясницкой, – как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. В фасадном корпусе в бельэтаже – редакция, а в надворном, фабричного вида, – типография со штатом прекрасных наборщиков под руководством уважаемых и любимых всеми метранпажей А. О. Кононова и И. П. Яковлева.

Вход в редакцию через подъезд со двора, по шикарной лестнице, в первый раз на меня, не издавшего редакций, кроме ютившихся по переулкам, каковы были в других московских изданиях, произвел приятное впечатление сразу, а самая редакция – еще больше. Это была большая, светлая, с высокими окнами комната, с рядом столов, покрытых зеленым сукном, с книжными шкафами, с уложенными в порядке на столах газетами. Тишина полная. Разговор тихий.

Первый, кого я увидел, был А. Е. Крепов, переводчик с иностранного, старичок в очках, наклонившийся над какой-то французской газетой, в которой делал отметки карандашом. Когда-то простой наборщик, он самообразовался, изучил языки и сделался сотрудником. За другим столом театральный критик, с шикарной бородой, в золотых очках, профессорского вида, Н. М. Городецкий писал рецензию о вчерашнем спектакле, а за средним столом кроил газеты полный и розовый А. П. Лукин, фельетонист и заведующий московским отделом, в помощники к которому я предназначался и от которого получил приглашение.

Рядом с А. П. Лукиным писал судебный отчет Н. В. Юнгфер, с которым я не раз уже встречался в зале суда на крупных процессах. Около него писал хроникер, дававший важнейшие известия по Москве и место которого занял я: редакция никак не могла ему простить, что он доставил подробное описание освящения храма Спасителя ровно за год раньше его освящения, которое было напечатано и возбудило насмешки над газетой. Прямо против двери на темном фоне дорогих гладких обоев висел единственный большой портрет Н. С. Сковрцова.

А. П. Лукин встретил меня, и мы прошли в кабинет к фактическому владельцу газеты В. М. Соболевскому, сидевшему за огромным письменным столом с массой газет и рукописей. Перед столом – такой же портрет Н. С. Сковрцова. Кожаная дорогая мебель, тяжелые шторы, на

столе подсвечник с шестью свечами под зеленым абажуром. В. М. Соболевский любил работать при свечах. В других комнатах стояли керосиновые лампы с зелеными абажурами.

И тишина, тишина...

По другую сторону стола сидел В. С. Пагануцци, необыкновенно толстый, добродушного вида, и читал рукопись. Переговорили об условиях с Соболевским, и потом, когда Лукин ушел, Пагануцци взглянул на часы и сказал, подавая рукопись:

– Можно сдавать в набор!

В. М. Соболевский позвонил и передал ее вошедшему мальчику:

– В набор!

В. С. Пагануцци еще раз вынул часы и показал!

– Уже час!

– Да, пожалуй, пора! – И Соболевский обратился ко мне:

– Владимир Алексеевич, не откажитесь с нами позавтракать. Каждое хорошее дело надо начинать с хлеба-соли.

Мы вышли через другую дверь, миновав редакцию, и В. М. Соболевский сказал швейцару:

– Я вернусь к трем часам.

Мы поехали в ресторан Тестова, или, как говорилось в Москве, «к Тестову», – я вдвоем с Соболевским, а Пагануцци полностью занял у извозчика убогую пролетку, у которой даже рессоры погнулись и колесо визжало о железо крыла.

От Тестова мы вышли полными друзьями, и я с той минуты всего себя отдал «Русским ведомостям».

\* \* \*

Вскоре товарищество приобрело в Чернышевском переулке свой дом – бывшего городского головы князя В. А. Черкасского, который был ему поднесен в дар москвичами. Дом этот находился против теперь еще существующего дома Станкевича. Пришлось сделать большие перестройки, возвести новые корпуса. В 1886 году редакция перешла в это новое, специально приспособленное помещение. От старого, кроме корпуса, выходящего на улицу, был оставлен крошечный флигелек, уступленный М. А. Саблину, куда он и перевел статистическое отделение при канцелярии генерал-губернатора, заведующим которого он состоял.

С новой типографией увеличился формат газеты, номера стали выпускаться в 6 и 8 страниц.

Ни одна газета не вынесла столько кар и преследований со стороны цензуры, сколько вынесли «Русские ведомости». Они начались с 1870 года воспрещением розничной продажи, что повторилось в 1871 и 1873 годах, за что – указаний не было: просто взяли и закрыли розничную продажу.

В 1873 году 4 декабря предостережение «Русские ведомости» получили за то, что они «закljučают в себе крайне, в циничной форме, враждебное сопоставление различных классов населения и, в частности, оскорбительное отношение к дворянскому сословию». И ежегодно шли кары, иногда по несколько раз в год.

Это продолжалось до конца прошлого столетия. 1901 год открылся приостановкой газеты за нарушение циркуляра, запрещавшего печатать отчеты о процессах против чинов полиции, а «Русские ведомости» напечатали отчет о случившемся в судебной палате в Тамбове деле о полицейском приставе, обвинявшемся в насильственном освидетельствовании сельской учительницы.

В 1905 году было приостановлено издание с 22 декабря по 1 января 1906 года за то, что «редакция газеты «Русские ведомости» во время мятежного движения, еще не кончившегося в Москве и в других городах, явно поддерживала его, собирала открыто значительные пожертвования в пользу разных забастовочных комитетов, политических ссыльных, борцов за

свободу и пр.». Дальше шли конфискации номеров, штрафы по несколько раз в год по разным поводам; штрафы сменялись конфискациями и привлечениями к суду. Таковых наказаний в один только 1912 год редакцию постигло двенадцать раз, а за 1912–1913 годы наказаний было тридцать. Придирались и правящие круги и мелкота. Во время «княжения» в Москве «хозяйина столицы» В. А. Долгорукова у него был чиновник, начальник секретного отделения, П. М. Хотинский. Он, чтобы выслужиться перед начальством, поставил себе в обязанность прославлять Долгорукова, для чего просто податливым газетам он приказывал писать, что ему надо было, а в «Русских ведомостях» состоял даже корреспондентом, стараясь заслужить милость этого единственного непокорного издания.

«Русские ведомости» раз жестоко его подкузьмили «по ошибке корректора». Когда В. А. Долгоруков ездил по ближайшим городам, то Хотинский из каждого города телеграфировал во все газеты о торжественных встречах, устраиваемых «хозяину столицы». Насколько эти встречи были торжественны, я лично не видал, но в газетах описания были удивительные. Однажды во всех московских газетах появляется большая телеграмма из Тулы о торжественной встрече. Тут и «ура», и народ «шпалерами», и «шапки вверх». Во всех газетах совершенно одинаково, а в «Русских ведомостях» оказалась напечатанной лишняя строка: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вам сообщить. Хотинский».

В телеграммах в другие газеты эта строка была предусмотрительно вычеркнута. «Русские ведомости» и секретное отделение с Хотинским во главе сделались врагами. Хотинский более уже не сотрудничал в газете.

\* \* \*

Редакция в Чернышевском переулке помещалась в бельэтаже дома В. А. Черкасского, вход с улицы, общий с конторой. Шикарно, но не было той интимности особняка, что была в Юшковом переулке. Здесь было несомненно удобнее, но официально как-то, холодком веяло. В Юшковом переулке было уютно, проще и симпатичнее. Здесь по каждому отделу свой особый кабинет по обе стороны коридора, затем большой кабинет редактора и огромная редакционная приемная, где перед громадными, во все стены, библиотечными шкапами стоял двухсаженный зеленый стол, на одном конце которого заседал уже начавший стариться фельетонист А. П. Лукин, у окна – неизменный А. Е. Крепов, а у другого секретарь редакции, молодой брюнет в очках, В. А. Розенберг принимал посетителей. Он только что поступил в редакцию. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом, как раз против себя, водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный при перестройке на чердаке дома...

А. П. Лукин, кроме своих, имевших иногда успех, фельетонов в «Русских ведомостях», под псевдонимом «Скромный наблюдатель», был еще московским фельетонистом петербургских «Новостей» Нотовича и подписывался римской цифрой XII.

Псевдоним очень остроумный и правдивый, так как в фельетонах участвовало несколько человек, а Лукин собирал весь этот материал в фельетон, который выходил в Петербурге по субботам. Не знаю, как платил Нотович, но я от Лукина получал 5 копеек за строчку и много зарабатывал, так как чуть не ежедневно давал заметки, которые нельзя было печатать в Москве, а в «Новостях» они проходили.

Репортером по заседаниям Городской думы и земства был Ф. Н. Митропольский. Немало университетской молодежи обслуживало ученые общества, давало отчеты по ученым собраниям, а я вел происшествия и командировки.

В типографии нас звали: Митропольского – «недвижимое имущество «Русских ведомостей», а меня – «летучий репортер». Оба эти прозвания были придуманы наборщиками, нашими друзьями, так как, приходя поздно ночью, с экстренными новостями, мы писали их не в редакции, а в типографии или корректорской, отрывая каждые десять строк, чтобы не задержать набор.

Действительно, приходилось быть летучим, конкурируя с оставленным мною «Московским листком», где было все основано на репортаже.

Приходилось носиться по Москве. Телефонов тогда не было, резиновых шин тоже, извозчики – на клячах, а конка и того хуже.

Я мог бегать неутомимо, а быстро ездил только на пожарном обозе, что было мне разрешено брандмайором, полковником С. А. Потехиным, карточку которого с надписью берегу до сего времени: «Корреспонденту В. А. Гиляровскому разрешаю ездить на пожарном обозе». Кроме меня, этим же правом в Москве пользовался еще один человек – это корреспондент «Московского листка», поступивший после меня, А. А. Брайковский, специальность которого была только отчеты о пожарах.

А. А. Брайковский поселился рядом с пожарным депо на Пречистенке и провел к себе в квартиру, через форточку, звонок прямо с каланчи, звонивший одновременно с пожарным звонком, который давал команде часовой при каждом, даже маленьком пожаре.

«Русские ведомости» помещали только сведения о больших пожарах, о которых, по приказанию того же брандмайора, мне приносили повестку из Тверской пожарной команды. Нередко мне приходилось, на ходу встречая мчавшийся обоз, вскакивать на что попало и с грохотом мчаться на пожары. В сыскной полиции у меня был сторож Захар, а в канцелярии обер-полицмейстера был помощник, который сообщал все происшествия из протоколов. На вокзалах имелись служащие и сторожа, которые сообщали о крушениях и о всех происшествиях на железной дороге.

«Русские ведомости», приглашая меня, имели в виду оживить московский отдел, что мне удалось сделать, и я успешно конкурировал с «Московским листком», не пропуская крупных событий. В трущобах, вроде Хитрова рынка, Грачевки и Аржановки, у меня были свои агенты из самых отчаянных бродяг, которые и сообщали свои сенсации. Иногда удавалось доставать такие сведения уголовного характера, которые и полиция не знала, – а это в те времена ценилось и читалось публикой даже в такой сухой газете, как «Русские ведомости». Не раз полиция и администрация меня тянули, но я всегда счастливо отделялся, потому что мои хитрованцы никогда не лгали мне.

Первое время они только пугали мою молодую жену: стучит в двери этакий саженный оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел. Бывали такие эффектнейшие сведения, которые производили переполох среди властей. Любезность ко мне обитателей притонов даже раз выразилась так: осенью был пожар на Грачевке, на котором я присутствовал. Когда я стал в редакции писать заметку, то хватился часов и цепочки с именным брелоком: в давке и суматохе их стащили у меня. Часы – подарок отца... Ну – украли, так украли.

Каково же было удивление, когда на другой день утром жена, вынимая газеты из ящика у двери, нашла в нем часы с цепочкой, завернутые в бумагу! При часах грамотно написанная записка: «Стырено по ошибке, не знали, что ваши, получите с извинением». А сверху написано: «В. А. Гиляровскому». Тем и кончилось. Может быть, я и встречался где-нибудь с автором этого дела и письма, но никто не намекал о происшедшем.

Эти молчаливые люди, никогда не говорившие своего имени, нередко, по непонятным для непосвященного причинам, и доставляли мне уголовные сведения.

Помню такой случай: из конторы богатой фирмы Бордевиль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка – самого людного места – в августе месяце среди белого дня. Полицию поставили на ноги, сыскашка разослала агентов повсюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особо важным делам Кейзер, который впоследствии вел расследование событий Ходынки, где нам пришлось опять с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло три недели – дело замолкло. Выхожу я как-то вечером из дома – я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, против консерватории, – а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири:

– Я к вам, пропишите их, подлецов, в газетах!

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля: как при его главном участии увезли шкаф, отправили по Рязанской дороге в Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост, в Гуслицы, за двенадцать верст от станции по дороге в Запонорье, где еще у разбойника Васьки Чуркина был притон. В кустах взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашлось около пятнадцати тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и сбросили с поезда, думая, что он «готов». Когда же Болдоха, очухавшись, вернулся на Хитров к съемщику ночлежки – капиталисту и организатору крупных разбоев «Золотому», – тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видали, как и куда Болдоха скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, – а мы знать не знаем!

На следующий день в «Русских ведомостях» я написал подробнейший рассказ Болдохн, с указанием места, где лежит в речке шкаф.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, – а я смеюсь:

- Мои агенты лучше ваших! Кейзер из себя выходит:
- Если это неправда, мы вас привлечем по статьям!
- Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.
- А если его там нет, то вы будете под судом!

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Федот Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится взломанный в сыском отделении.

Кейзер приехал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте другого преступления, указал всех участников. Дело «Золотого» разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

А Болдоха успел бежать.

\* \* \*

Счастливейшее время моей работы было тогда в «Русских ведомостях», которое я вспоминаю с удовольствием. Я был молод, силен, гордился своим положением, дружеским отношением с людьми, имена которых незабвенны. Особенно дороги мне 80-е годы (середина), когда я весь отдавался «Русским ведомостям». Какие встречи! Кто-кто не работал в газете! Писали те, о которых даже не догадывались читатели, не воображала цензура. Только мы, очень немногие, далеко даже не все постоянные сотрудники, знали, что работали в газете и П. Л. Лавров, и Н. Г. Чернышевский, поместивший в 1885 году свой первый фельетон за подписью «Андреев», и другие революционные демократы.

– Кто это Андреев? – спросили М. А. Саблина в цензуре.

– Кто Андреев? Да актер Андреев-Бурлак!

Тем и успокоилось начальство.

Петр Лаврович Лавров подписывал статью одной буквой или совсем не подписывался под некоторыми статьями или «письмами из Лондона».

Так никогда и не узнала об этом сотрудничестве цензура. А узнай она – за одно участие их газета была бы закрыта, да и редакторы угодили бы в ссылку.

Был такой случай: министр Д. А. Толстой потребовал сообщить имя автора какой-то статьи. Ему отвечали отказом, и министр потребовал от московского генерал-губернатора высылки из Москвы редактора В. М. Соболевского; но самолюбивый «хозяин столицы» В. А.

Долгоруков, не любивший, чтобы в его дела вмешивался Петербург, заступился за В. М. Соболевского и спас его. А высылка была равносильна закрытию газеты, так как утвержденным редактором тогда был один В. М. Соболевский. Писали в это время также под псевдонимами И. И. Добровольский, Н. В. Чайковский и К. В. Аркакский (Добренович).

Восьмидесятые годы были расцветом «Русских ведомостей». Тогда в них сотрудничали: М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, А. Н. Плещеев, Н. Е. Каронин, Г. А. Мачтет, Н. К. Михайловский, А. С. Пругавин, Н. М. Астырев, Л. Н. Толстой, статьи по театру писал В. И. Немирович-Данченко.

Какое счастье было для молодого журналиста, кроме ежедневных заметок без подписи, видеть свою подпись, иногда полной фамилией, иногда «В. Г-ский», под фельетонами полосы на две, на три, рядом с корифеями! И какая радость была, что эти корифеи обращали внимание на мои напечатанные в газете фельетоны и хорошо отзывались о них, как, например, М. Е. Салтыков-Щедрин о моем первом рассказе «Человек и собака».

А разве не радость это: в 1886 году я напечатал большой фельетон «Обреченные» (очерк из жизни рабочих на белильных заводах), где в 1873 году я прожил зиму простым рабочим-кубовщиком. В нем я дал полное впечатление каторжной работы на тех заводах, с которых люди не возвращались в жизнь, а погибали от болезней. Это был первый такой очерк из рабочей жизни в русской печати. Никогда не забыть мне беседы в редакции «Русских ведомостей», в кабинете В. М. Соболевского, за чаем, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не родился пролетариат, а в ответ на это Успенский привел в пример моих только что напечатанных «Обреченных», попросил принести номер газеты и заставил меня прочесть вслух. А потом меня долго расспрашивали о подробностях, и Глеб Иванович остался победителем.

С этого дня мы подружились вплотную с Глебом Ивановичем, и он стал бывать у меня.

Такие же отношения установились с А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, В. А. Гольцевым – дружеское «ты» и полная откровенность.

Работая в «Русских ведомостях», мне приходилось встречаться с иностранцами, посещавшими редакцию. Так, после возвращения из Сибири Джорджа Кеннана, автора знаменитой книги «Сибирь и каторга», в которой он познакомил весь мир с ужасами политической ссылки, редакция поручила мне показать ему московские трущобы.

Пришлось мне встретить и возвращавшихся из Сибири американских корреспондентов Гарбера и Шютце, привезших из тундры прах полярного исследователя де Лонга.

В 1879 году редактор «Нью-Йорк Геральда» Бернет снарядил экспедицию к Северному полюсу под начальством капитана де Лонга на паровой яхте «Жаннета». К северу от Берингова пролива яхта была раздавлена льдами.

Узнав о гибели «Жаннеты», американское правительство послало пароход «Роджерс» для отыскания экипажа «Жаннеты», но «Роджерс» в ноябре 1881 года сторел в Ледовитом океане.

Вскоре после пожара «Роджерса» была послана Бернетом новая экспедиция, которую возглавляли лейтенанты Гарбер и Шютце. Они должны были отыскать следы лейтенанта Чиппа с его экипажем.

– Завтра утром надеюсь вас видеть на Рязанском вокзале! – этими словами остановил меня на Мясницкой американский консул Джон Смит, прирожденный москвич.

Гляжу на него во все глаза и ничего не понимаю. Он вынул из кармана телеграмму. Читаю: «Завтра скорым, Гарбер, Шютце».

– Завтра все узнаете. Со скорым прибывает прах де Лонга и матросов, погибших на «Жаннете».



На другой день Джон Смит по выходе из вагона представил меня прибывшим, и через час мы завтракали в «Славянском базаре».

Огромное впечатление произвел на меня рассказ о гибели экипажа «Жаннеты» среди льдов и вод, над которыми через пятьдесят лет мчали по воздуху советские герои-летчики челюскинцев и спасли сто одного человека с корабля, раздавленного льдами.

Гарбер и Шютце подробно рассказали о своем путешествии за поисками трупов товарищей и показали карты, рисунки и фотографии тех мест Севера, где они побывали.

Оба лейтенанта были еще молодые люди. Гарбер среднего роста, а Шютце выше среднего, плотного телосложения, показывающего чрезвычайно большую физическую силу. Лица у обоих были свежими, энергичными. Во время своего двухлетнего путешествия они чувствовали себя совершенно здоровыми, и только Шютце жаловался на легкий ревматизм, полученный в Якутске.

– В двадцати верстах от берега Ледовитого моря, – рассказывали Гарбер и Шютце, – при впадении западного рукава Лены, была метеорологическая русская станция Сагастир, где по временам жили доктор Бунге и астроном Вагнер, с двумя казаками и тремя солдатами, для метеорологических наблюдений. Кроме этого, по восточному и западному рукавам были разбросаны на громадных расстояниях между собой несколько тунгусских зимовок, из которых главнейшей считалась находящаяся на самой Лене, до деления ее на рукава, тунгусская деревня Булом, отстоящая на расстоянии 1400 верст от Якутска.

От Булома и до самого Ледовитого океана тянется страшная тундра. Зимой эта тундра представляет собой гладкую снеговую поверхность, а летом – необозримое болото, кое-где покрытое мелким березовым кустарником.

Когда пароход «Жаннета», затертый льдом, утонул в Ледовитом океане, за сто верст выше устья Лены, де Лонг с экипажем отправился южнее по льду и верстах в тридцати от берега пересел на три лодки, из которых одной командовал сам, другой инженер Мельвиль, а третьей лейтенант Чипп. Вследствие бури лодки были разделены друг от друга, растались; Мельвиль попал в восточный рукав и благополучно достиг Якутска, Чипп с экипажем пропал без вести, а де Лонг, имевший карту устьев Лены с обозначением только трех рукавов, которыми она впадает в океан, ошибочно попал в одну из глухих речек, которая шла параллельно северному рукаву Лены и терялась в тундре.

Если бы де Лонг проплыл на лодке несколько верст западнее и попал в северный рукав, он был бы спасен, так как, поднимаясь вверх, достиг бы тунгусских деревень.

Поднявшись по глухой речке, де Лонг добрался до верховья ее, где нашел брошенную тунгусскую землянку, и, обессиленный, остался отдыхать с экипажем, а двоих матросов, Норосса и Ниндермана, отрядил на поиски жилых тунгусских стоянок, так как, найдя забытую землянку, предположил, что есть близко и селение.

Долго шли смельчаки Норосс и Ниндерман по снеговой тундре, без всякой надежды встретить кого-нибудь, и уже обрекли себя на гибель. Однако близ восточного рукава Лены встретили ехавшего на оленях тунгуса, направлявшегося к югу, который взял их с собой и привез в Северный Булом.

Это спасло смельчаков, хотя встреча была случайной. На такой дикий север тунгусы никогда не заходили зимой, а на этот раз встретившийся матросам и спасший их тунгус был послан старостой селения Булом к устью восточного рукава Лены, где летом забыли пешни, употребляемые для прокола льда во время ловли рыбы.

В Буломе матросам встретился ссыльный Кузьма Ермилов – человек довольно образованный, объяснившийся с матросами по-немецки, и передал им, что месяц назад здесь прошел Мельвиль с экипажем и отправился в Якутск.

Кузьма Ермилов съездил в Якутск и привез Мельвиля, который вместе с матросами отправился разыскивать де Лонга, но безуспешно.

В тундре были страшные бураны. Только на следующее лето Мельвиль, перезимовавший в Якутске, отправился с Ниндерманом и Нороссом на поиски и нашел тела товарищей близ той самой землянки, откуда матросы ушли на разведку. Тела были собраны Мельвилем и похоронены на каменном кургане, единственном возвышении в тундре. На кургане был воздвигнут большой деревянный крест с именами погибших.

Я видел рисунок этой могилы, сделанный г. Шютце: посреди голой тундры стоит высокий курган из дикого камня, на нем возвышается огромный крест, обложенный снизу почти на сажень от земли несколькими сотнями крупного булыжника.

Гарбер и Шютце на маленькой шхуне в сопровождении шести русских матросов, переводчика, сибирского казака Петра Калинкина и офицера Ганта, спасшегося со сгоревшего парохода «Роджерс» и добравшегося до Якутска, отправились на поиски Чиппа.

На десятый день они добрались до Булома, где к ним присоединился Кузьма Ермилов, и отправились дальше.

В продолжение всего лета, захватив часть осени, пешком и на шхуне путешественники обошли, не забыв ни одного протока, ни одного самого глухого местечка, всю дельту Лены и весь берег океана.

В ноябре они, измученные, усталые, отдыхали десять дней на метеорологической станции Сагастир, потом прожили несколько дней в пустой забытой зимовке тунгусов «Китах», затем, еще раз побывав на занесенной снегом могиле товарищей, погребенных Мельвилем, отправились в Якутск и сообщили о неудачных поисках экипажа лейтенанта Чиппа.

Из Нью-Йорка было получено приказание привезти тела де Лонга и его товарищей в Америку, что и было сделано лейтенантами Гарбером и Шютце. Ими же был привезен и дневник де Лонга, который вел он до самой своей смерти в пустынной тундре.

Последние строки этого дневника такие: «Наш завтрак состоял из пол-ложки глицерина и куска сапога. Один бог знает, что будет с нами дальше...», и еще: «...съеден последний кусок сапога...» Жизнь автора кончилась с этими строками.

Оба лейтенанта были приняты и чествуемы редакцией «Русских ведомостей». Я показал им Москву, проводил их на вокзал и по их просьбе некоторое время посылал через них корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», которые там и печатались.

\* \* \*

В 1892 году мне пришлось невольно сделаться безвестным корреспондентом английской газеты. Я был командирован редакцией на холеру в Донскую область, где болезнь свирепствовала с ужасающей силой. Холера была мне не в новинку. Еще в 1871 году, когда я шел в бурлацкой лямке, немало мы схоронили в прибрежных песках Волги умерших рядом с нами товарищей, бурлаков, а придя в Рыбинск и работая конец лета на пристани, в артели крючников, которые умирали тут же, среди нас, на берегу десятками и трупы которых по ночам отвозили в переполненных лодках хоронить на песчаный остров, — я немало повидал холерных ужасов. Вот почему я и принял эту командировку не задумываясь. Мне уже пришлось до поездки в Донскую область этим летом видеть холеру в Нижнем, во время ярмарки, и очень оригинальную с ней борьбу. Губернатором был тогда старый моряк генерал Н. М. Баранов, мужчина серьезный и уж очень энергичный. Когда разыгралась во время ярмарки холера вовсю, он самолично метался всюду и распоряжался. Купцам он прямо приказывал за свой счет оборудовать лазареты и, кроме того, на огромной барже на их счет создал прекрасно поставленный плавучий госпиталь, куда свозил больных. Сам Баранов являлся внезапно в какую-нибудь мастерскую или на завод, где много рабочих, производил осмотр и, конечно, всегда находил грязь и беспорядки. Нечистые спальни, грязные столовые, плохая пища, отсутствие кипяченой воды были всюду, как и до холеры. Найдя беспорядки и указав их, Н. М. Баранов приглашал хозяина сесть с ним в его пролетку, вез на набережную и лично отвозил на лодке прямо к плавучему госпиталю, где сдавал коменданту:

«Вот, получите нового служителя, пусть моет полы и ведра таскает», – и уезжал.

Когда человек пять таких тузов отправил он в госпиталь, все начали чистить, мыть, перестраивать и кормить рабочих и служащих свежей пищей в чистых столовых. В две недели Нижнего стало не узнать: чистота на улицах и на дворах.

Кроме купцов, отправленных в служители в холерный госпиталь, Баранов стал забирать шулеров, которые съехались, по обычаю, на ярмарку. Их он держал по ночам под арестом, а днем посылал на грязные работы по уборке выгребных и помойных ям, а особенно франтоватых с девяти часов утра до обеда заставлял мести площади и мостовые у всех на виду.

В толпе шулеров, очищающих Нижний от грязи во время холеры, старался с метлой в руках бритый, как актер, пожилой франт в котелке и модном пальто. Это было на площади против ярмарочного театра. Проезжал мимо Баранов и остановился. К нему подошел пристав:

– Ваше превосходительство! Как бы неловкости не вышло...

– Что такое?

– А вот извольте видеть этого бритого...

– Где взят?

– В игорном доме. Он сказал, что он уфимский городской голова. Как бы неловко...

– Да! – задумался Баранов и смотрит, как все метут-стараятся.

– Что же прикажете, ваше превосходительство?

– Ну, если... городской голова... Так отправить его мести мостовую наверх, в город, перед Думой! – и поехал. Потом, обернувшись, крикнул:

– Пусть метет три дня перед Думой!

Много тогда поработал по холере доктор и писатель С. Я. Елпатьевский, который своей неутомимостью, знанием местных условий и народа спас тысячи людей.

С. Я. Елпатьевский работал в самых опасных местах – в притонах Канавина, на пристанях, главным образом на Песках, до отказа заселенных рабочим народом.

\* \* \*

В июле я выехал на Дон. За Воронежем уже стала чувствоваться холера. Наш почти пустой скорый поезд встречал по пути и перегонял на станциях санитарные поезда с окрашенными в белую краску вагонами, которые своим видом наводили панику. Здесь на них не обращали внимания, но на глухих станциях мне не раз приходилось слышать:

– В белых вагонах – это холеру везде развозят, чтобы народ морить... Кому надо народ морить? Как холеру развозят? Зачем и кто? – так рассуждали и говорили.

Ехать в поезде было невесело. Жара страшная. Станции пусты и провоняли донельзя карболкой.

Я решил начать поездку с Ростова, а потом пробраться или в верховья Дона, или на Волгу, через станцию Калач.

Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса – и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось – случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто.

Неделю я провел верхом вдвоем с калмыком, взятым по рекомендации моего старого знакомого казака, который дал мне свою строевую лошадь и калмыка провожатым. В неблагополучных станицах мы не ночевали, а варили кашу и спали в степи. Все время жара была страшная. В редких хуторах и станицах не было разговора о холере, но в некоторых косило десятками, и во многих даже дезинфекция не употреблялась: халатность полная, мер никаких.

В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому, проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили.

Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи, среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих. Мы поскакали наперерез бежавшим и поймали последнего.

– Что случилось? Что ты взял у него?

– Паспорт и деньги, братеник это мой, чума заела...

Двое вернулись, смело подошли к нам и объяснили, что они воронежские, были на сенокосе, отработали и шли домой. Их было одиннадцать человек, но дорогой четверо умерли.

– От этой самой чумы. Четверо на земле умерли, а этот прямо... шел-шел – хлоп, и готов! Во, его братеник он!

Бледные, дрожат.

Почему они холеру звали чумой – так я и не спросил. Да вообще разговаривать было некогда, да и не к чему – помочь нельзя, ближайший хутор верстах в десяти, как сказал калмык.

Немало таких брошенных трупов валялось по степи. Их присутствие было видно издали по стаям коршунов и воронья...

Я привожу здесь маленький кусочек из этой поездки, но самое описание холерных ужасов интересно было в то время для газетной статьи, а теперь интереснее припомнить кое-что из подробностей тех дней, припомнить то, что уж более никогда не повторится, – и людей таких нет, и быт совсем другой стал.

Как и всегда во всех моих репортерских изысканиях, да вообще во всех жизненных приключениях, и на этот раз мне, как говорится, повезло.

Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку.

Едва я доел последнее яйцо, вырабатывая в голове, с чего и как начать мои исследования, как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник «Журнала спорта».

– Владимир Алексеевич, где путь держите?

Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, – это считается неприличным, допросом каким-то, – а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» прямо считается оскорблением.

«Куда идешь?» – спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака.

И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут:

«Закудыкал, на свою бы тебе голову!...»

Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается полюбопытствовать:

«Где идете (или едете)?»

В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки: осмотреть холеру в степи, по станицам и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии.

– И надумал я нанять пару лошадей, доехать до одной станицы, конечно, составив предварительно маршрут, в станице снова нанять лошадей до следующей, и так далее, и закончить Новочеркасском.

– Так. Только едва ли закончите Новочеркасском, как бы в степи не побывшиться... Ведь в тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят... Долго ли до греха...

– Что же делать?

– Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом оно и покажет, что делать... А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор: там у меня такой третьегодний самодав – пальчики оближешь! Да и старые вина есть первосортные, – отец сам давит... Вот уж выморозки так выморозки – ум проглотишь! Ни у Соколова, ни у Меркуловского ничего подобного!

– Это очень заманчиво, но ведь у меня дело важное. Сейчас я наметил первым делом в город – купить бурку, чайник медный и кое-что из съестного...

– Так. И чайник, и бурку, и казанок с треногой, и суму переметную пойдем купим. До поезда еще часа два. А потом в вагон и ко мне на хутор, а маршрут мы вам с отцом составим, он все знает.

Пошли за покупками.

– А ведь вам везет! – сказал он дорогой.

– В чем?

– Да вот хоть в этом! Я уж все обдумал, и выйдет по-хорошему. На ваше счастье мы встретились: я и в город-то случайно, по делу, приезжал – безвыходно живу на хуторе и хозяйствую. Я уж год как на льготе. Пару кровных кобыл купил... свой табунок, виноградничек... Пухляковский виноград у меня очень удался ныне. Да вот увидите. Вы помните моего старого Тебенька, на котором я в позапрошлом году офицерскую скачку взял? Вы его хотели еще в своем журнале напечатать...

– Хорошо помню – караковый полукровок, от Дирбоа.

– Три четверти кровный! Вот на нем-то вы и поедете по степям. Плохому езду не дал бы, а вам с радостью! Из всякой беды вынесет.

– Ну, а как же... – заикнулся я, но он меня перебил:

– Да вот так же, вам всегда везет, и сейчас тоже! Вчера приехал ко мне мой бывший денщик, калмык, только что из полка отпущенный на льготу! Прямо с поезда, проездом в свой улус, прежде ко мне повидаться, к своему командиру... Я еду на поезд – а он навстречу на своем коне... Триста монет ему давали в Москве – не отдал! Ну, я велел ему дожидаться, – а вышло кстати... Вот он вас проводит, а потом и мою лошадь приведет... Ну, как, довольны? – и хлопнул меня по плечу.

– Счастлив! Александр... Александр...

– Ну, уж вы меня попросту, как отец зовет, Санькой! Ты, мол, Санька!

– Ну ладно, спасибо тебе, Саня!

\* \* \*

На полустанке нас ждала пара прекрасных золотистых полукровок в тачанке, и на козлах, рядом с мальчуганом-кучером, в полной казачьей форме калмык. Он спрыгнул и вытянулся.

– Здравствуй, Ваня! Хорошо, что дождался, а я хочу тебе на неделю службу дать.

– Рад стараться, ваше благородие.

Дорогой мы все переговорили. Я спросил у калмыка его имя.

– Иван, – так меня, когда я в денщики к их благородию поступил, они меня называли, и весь полк так звал! – очень чисто, почти без акцента ответил мне калмык.

Двое суток я прожил у милых казаков. Старик, участник турецкой кампании на Балканах, после серьезной раны безвыходно поселился на хуторе и хозяйствовал. Его дом был полная чаша, а жена, красавица с седыми кудрями, положительно закармила меня. Такого каймака я никогда и нигде не ел! Отец угощал удивительными десятилетними наливками и старыми винами, от которых голова свежая, сиди за столом и пей, только встать не пробуй – ноги не слушаются! Сначала отец как-то поморщился, узнав, что сын дает мне своего Тебенька, но когда на другой день мы устроили кавалькаду и я взял на нем два раза ограду, – он успокоился, и мы окончательно подружились. Я фотографировал группы семьи – вся семья только трое: отец, мать и холостой Саня, – потом снял калмыка, а потом... Вот я о чем жалел, когда выехал на холеру, – забыл у них свой кодак, засунув его в книги, и получил его почтой в Москву вместе с чудным окороком и гусиными копчеными полотками. (В кодаке было снято пять пластинок – в том числе был и калмык.)

«А вина и наливки пришлю после, с какой-нибудь оказией, а то эти подлецы на почте не приняли, и пришлось Саньке посылку перекупоривать», – было в письме от старика.

И действительно, зимой прислал!

А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным, – а главное, что больше всего пригодилось, – походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо! Была ветчина малосольная, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. А каким великолепным поваром оказался мой калмык, питавший меня ежедневно в обед и в ужин кулешом, в который валил массу луку и чесноку – по рекомендации моих хозяев, против холеры лучшее средство. О напитках тоже позаботились. И, напутствуя меня, когда я уже был готов к отъезду, старый казак надел мне на шею большой медный крест на шелковом гайтане.

– Против холеры первое средство – медь на голом теле... Старинное средство, испытанное!<sup>1</sup>

Вспомнил я, что и старые бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лаптях, под онучами, медные старинные пятаки.

Приняв от него это благословение, я распрощался с милыми людьми, – и мы с Иваном очутились в выгоревшей, пыльной степи... Дальнейшие подробности со всеми ужасами опускаю, – да мне они уж и не казались особенными ужасами после моей командировки несколько лет тому назад за Волгу, в Астраханские степи, на чуму, где в киргизских кибитках валялись разложившиеся трупы, а рядом шевелились черные, догнивающие люди, И никакой помощи ниоткуда я там не видел!

Насмотрелся я картин холеры, исписал три записные книжки.

\* \* \*

Мы стали приближаться к Новочеркасску. Последнюю остановку я решил сделать в Старочеркасске, – где, как были слухи, много заболело народу, особенно среди богомольцев, – но не вышло. Накануне, несмотря на прекрасное питание, ночлеги в степи и осторожность, я почувствовал недомогание, и какое-то особо скверное: тошнит, голова кружится и, должно быть, жар.

Я ничего не сказал калмыку, а только заявил, что завтра поедем прямо в Новочеркасск, а в Старочеркасск заезжать не будем, хотя там висят на паперти собора цепи Стеньки Разина, которые я давно мечтал посмотреть. А слышал я о них еще во времена моей бродяжной жизни, в бессонные ночи, на белильном заводе, от великого мастера сказки рассказывать, бродяги Суслика, который сам их видал и в бывальщине о Степане Тимофеиче рассказывал, как атамана забрали, заковали, а потом снова перековали и в новых цепях в Москву повезли, а старые в соборе повесили для устрашения...

Если я не поехал посмотреть эти цепи, так значит, уж мне плохо пришлось! Я даже отказался, к великому горю Ивана, ужинать и, по обыкновению завернувшись в бурку, седло под голову, лег спать, предварительно из фляги потянув полыновки и еще какой-то добавленной в нее стариком спиртуозной, очень вкусной смеси.

Ночь была теплая, и я проснулся утром, когда солнце взошло. Голова кружилась, тошнило. Наконец я сказал Ивану, который уже вскипятил чай:

– Уж не холера ли со мной? Ведь со вчерашнего дня!

– Никак нет, ваше благородие, а впрочем, все может быть! Только это ничего – пропотеть, и все пройдет! Напьемся чайку.

Он и о себе и обо мне одинаково говорил «мы» – чисто денщицкая привычка.

«Что нового?» – спросили денщика одного полкового адъютанта.

«Есть новость! Так что мы с барином женимся, его благородие полковнику дочку засватали»...

---

<sup>1</sup> Теперь, когда я уже написал эти строки, я рассказал это моему приятелю врачу-гомеопату, и он несколько не удивился. У нас во время холеры как предохранительное средство носили на шее медные пластинки. Это еще у Ганемана есть.

– Напьемся чайку напополам с вином (которого он и в рот не брал), а потом наденем на себя бурку да наметом, наметом, пока скрозь не промокнем, – и всякая боль пройдет! К Черкасску здоровы будем!

А меня дрожь пробирает и тошнит.

Поседлал Иван, туго затянул подпруги – и ахнули мы с ним вместе широким наметом – только ветер свистит кругом да голову отворачиваешь! Давно я так не скакал, а без тренировки задыхаешься. Да еще слабость...

Иногда, когда Иван отставал, я сдерживал моего Тебенька, – но сын славного Дир-боя, отмахав верст двадцать, был свеж, только фырчит, ноздри раздувает, а повода не спускает, все попрашивает. И у калмыка хорош конь – тоже свеж.

– Он от Подкопаевского Тумана... Лошади цены нет, – хвалился Иван.

Я был мокрый насквозь, но чувствовал себя бодро.

– Ваня, а ведь я здоров!

– Пропотел – и здоров. Это «она» была с вами! Ляг только – застынешь и умрешь!.. Может, кашу сварить?

– Нет уж, не стоит...

– Так винца выпейте!

Через час мы были в Новочеркасске, у подъезда «Европейской гостиницы», где я приказал приготовить номер, а сам прямо с коня отправился в ближайший магазин, купил пиджачную пару, морскую накидку, фуражку и белье. Калмык с лошадьми ждал меня на улице и на все вопросы любопытных не отвечал ни слова, притворяясь, что не понимает. Вымуштрованный денщик был – и с понятием!

\* \* \*

До сего времени не знаю, был ли это со мной приступ холеры (заразиться можно было сто раз) или что другое, но этим дело не кончилось, а вышло нечто смешное и громкое, что заставило упомянуть мою фамилию во многих концах мира, по крайней мере в тех, где получалась английская газета, выходившая в миллионах экземпляров.

Отпустив калмыка, я напился чаю и первым делом пошел в редакцию газеты «Донская речь», собрать кое-какие данные о холере. Газета подцензурная, и никаких сведений о холере, кроме кратких, казенных, в ней не было. Чтобы получить подробные официальные сведения о ходе холеры во всей области, мне посоветовали обратиться в канцелярию наказного атамана. Между прочим, шутя я рассказал в редакции о том, как меня калмык от холеры вылечил.

Я отправился в канцелярию, и только вышел, встречаю знакомого генерала А. Д. Мартынова, начальника штаба, в те дни замещавшего наказного атамана, бывшего в отпуску. Я ему сказал, что иду в канцелярию за справками.

– Не беспокойтесь, все у меня в руках, все будет сделано, а теперь ко мне завтракать; мне карачаевских барашков привезли да икры ачуевской!

– С удовольствием!

– Вы из Москвы? Ну, как там?

Не успел я ответить, как из-за угла выскочили два бешено мчавшихся всадника – офицер и казак.

– Стой! – крикнул казаку офицер, на всем скаку посадил на задние ноги коня, казак на лету подхватил брошенные поводья, а офицер, вытянувшись в струнку, отрапортовал генералу:

– Сейчас я остановил поезд-шахтерку на посту. Обошел все вагоны, нашел троих холерных, высадил их и отправил в холерный барак.

– Подальше, подальше, Василий Иванович, а то еще холеру принесете. Поезжайте переодеваться!

А сам назад пятится.



– Слушаю, ваше превосходительство! – отковырял офицер, прямо с земли, без стремени прыгнул в седло и умчался с казаком.

– Это Власов! Наш полицмейстер, отчаянная голова... Да! Да! Вы из Москвы сейчас?

– Нет, из степи! – И я рассказал ему сделанный мной маршрут, украсив его виденными картинами.

Изменился еще больше, чем от рапорта Власова, генерал:

– Так это вы из самого очага холеры?! Посмотрел на часы.

– Знаете? Ведь мы опоздали! Уж второй час, а я думал – двенадцать! Пойдемте завтракать в «Ротонду», у меня дома, я думаю, позавтракали.

А сам все жметя от меня. Пришли в городской сад, в «Ротонду», где я за завтраком рассказал, какие мне надо получить сведения.

– Канцелярия не даст! И я ничего не могу сделать – о шествии холеры мы даже в Петербург сообщаем в пакетах с подписью «совершенно секретно»... Циркуляр строжайший, а главное, чтобы в печать не попало!

Из ресторана я пришел в номер, купив по пути пачку бумаги. Я решил прожить два дня здесь, на свободе привести в порядок мои три сплошь исписанные записные книжки, чтобы привезти в Москву готовые статьи, и засел за работу.

После обеда, на другой день, я опять был в «Донской речи», и редактор мне подал гранку «Калмыцкое средство от холеры», перекрещенную красными чернилами.

В двадцати строках рассказано происшествие с корреспондентом «Русских ведомостей», – далее полностью мои инициалы и фамилия. Точь-в-точь как было!

Гранку эту отдали мне, и по приезде в Москву я показал ее – и все много смеялись.

В числе видевших гранку был репортер «Петербургского листка» И. М. Герсон.

Дня через три вдруг я вижу в этой газете заметку «Средство от холеры» – по цензурным условиям ни о Донской области, ни о корреспонденте «Русских ведомостей» не упоминалось, а было напечатано, что «редактор журнала «Спорт» В. А. Гиляровский заболел холерой и вылезлся калмыцким средством: на лошади сделал десять верст галопа по скаковому кругу – и болезнь как рукой сняло».

Прошло недели две. В редакции «Русских ведомостей» заведующий иностранными газетами А. Е. Крепов преподнес мне экземпляр газеты, в которой была перепечатана эта заметка из «Петербургского листка».

Еще в некоторых иностранных газетах появился перевод заметки из «Петербургского листка» – так тогда заграница интересовалась холерой!

Это курьез из моей репортерской поездки, но она дала мне и нечто более серьезное.

\* \* \*

За полгода до моей поездки на холеру, в Москве, на одной из студенческих тайных вечеринок в пользу Донского землячества, я прочел мою поэму «Стенька Разин».

Поэма эта как запрещенная всегда имела у молодежи успех, а у донцов особенный. Во время обычных танцев после программы на эстраде я отдыхал в буфете. Ко мне подошел знакомый композитор и музыкальный хроникер Грабовский и попросил разрешения представить мне свою жену, донскую казачку, которая очень заинтересовалась поэмой. Познакомились. Она рассказала, что ее отец известный на Дону педагог, теперь уже живущий на пенсии, еще будучи студентом и учителем в станице, много работал по собиранию материала о Стеньке Разине, и если я позволю ей переписать это стихотворение для ее отца, то доставлю ему нескончаемое удовольствие.

– Мне думается, что если бы вы с ним повидались, то от него получили бы, наверное, много неизвестных данных. Так, например, я помню, отец всегда говорил, что казнь Разина была не на Красной площади, как пишут историки, а на Болоте.

Я удивился – в первый раз слышу!

– Он очень счастлив будет получить поэму о его любимом герое. А если будете на Дону – повидайте его обязательно!

Я записал адрес и обещал прислать стихи, но как-то, за суетой, так и не послал.

\* \* \*

Сидя третий день в номере «Европейской гостиницы», я уже кончал описание поездки, но вспомнил о цепях Стеньки Разина, и тут же пришло на память, что где-то в станице под Новочеркасском живет известный педагог, знающий много о Разине, что зовут его Иван Иванович, а фамилию его и название станицы забыл.

Я отправился на счастье в «Донскую речь», – может быть, там знают известного педагога Ивана Ивановича и помнят его фамилию. В кабинете редактора были еще два сотрудника.

– Какой у вас на Дону есть известный педагог Иван Иванович? Я его фамилию забыл!

– Иван Иванович? – в один голос сказали все трое. – Да мы все трое ученики его... Он воспитал три поколения донцов. Кто не знает нашего любимого учителя!.. Инспектор реального училища! Теперь на пенсии!

И с какой любовью они рассказывали об этом старике!

Иван Иванович из простых казаков. Кончил гимназию, кончил математический факультет Харьковского университета, и, как лучшему выпускнику, ему предложено было остаться при университете, но он отказался:

«У нас на Дону ученые нужнее!»

Вернулся на Дон и поступил на службу народным учителем в станице. И долго он был народным учителем, а потом наконец перешел учителем в гимназию в Новочеркасск, а затем, много-много лет прослужив учителем математики, получил место инспектора реального училища, продолжая в нем и преподавание. Он пользовался общей любовью всего Дона, ученики чуть не молились на него, начальство уважало его за знания и за исключительную честность, но невзлюбил его наказной атаман Святополк-Мирский, присланный на эту должность из Петербурга.

«Святополк-Окаянный», – звали его все донцы, ненавидя за всевозможные пакости.

На несчастье Ивана Ивановича, в реальном училище учились два племянника Святополка, франтики и лентяи. Иван Иванович два года подряд оставлял их в одном и том же классе, несмотря на то, что директор, по поручению Святополка, просил Ивана Ивановича поставить им на выпускном экзамене удовлетворительный балл:

«Родственники атамана! Надо сделать!»

«Для меня все ученики равны, а до того, что им атаман – родственник, мне нет дела!»

И вкатил им по двойке. Пришлось им выйти из училища, но пришлось выйти из училища и Ивану Ивановичу...

Как уж там атаман устроил – любимца-педагога уволили с крохотной пенсией.

Все возмутились, но сделать ничего нельзя было. Отозвались тем, что начали ему наперебой давать частные уроки, – и этим он существовал, пока силы были. Но пришла старость, метаться по урокам сил нет, семьяща – все мал мала меньше... В нужде живет старик в своем домишке в станице Персияновка.

– Спросите там Ивана Ивановича – всякий укажет!

Тут я и станицу вспомнил, записанную в потерянном мной адресе: Персияновка!

Через час извозчик привез меня в станицу верстах в десяти от города.

Я застал старика с большой седой бородой, в одной рубахе и туфлях, с садовым ножом в руках за обрезкой фруктовых деревьев в прекрасном садике. Я передал ему поклон от дочери и рассказал о цели моего приезда.

– Рад, очень рад! А вот первым делом пойдем обедать, слышите – зовут, а после обеда и поговорим.

Старик представил меня жене, пожилой, но еще красивой южной, донской красотой. Она очень обрадовалась поклону от дочери. За столом сидели четыре дочки лет от четырнадцати и ниже. Сыновей не было – старший был на службе, а младший, реалист, – в гостях. Выпили водочки – старик любил выпить, а после борща, «красненьких» и «синеньких», как хозяйка нежно называла по-донскому помидоры, фаршированные рисом, и баклажаны с мясом, появилась на столе и бутылочка цимлянского.

Когда дети ушли, начался наш разговор.

Я прочел отрывки из моей поэмы, причем старушка не раз прослезилась, а Иван Иванович тоже расчувствовался и сказал:

– Превосходно! Это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о Разине. Только позвольте мне указать на некоторые детали. Повторите мне первые строки казни.

Читаю:

...Утро ясно встает над Москвою,  
Солнце ярко кресты золотит,  
И народ еще с ночи толпою  
К Красной площади, к казни спешит...

– Вот тут историческая неверность, впрочем, – сказал он, – утвержденная нашими учеными историками; на самом деле Разин казнен не на Красной площади, а на Болоте. Я могу утверждать это. Со студенческой скамьи и в первые годы учительства, холостым еще, я страстно увлекся двумя нашими героями – Разиным и Булавиным, а потом и потерпел за это увлечение – был под надзором, и все работы мои пропали. Вот она знает кое-что... На мою карьеру повлияло: сколько лет в городе места не давали. Разин-то еще не так, а вот особенно за Булавина досталось. Больше Разина его боялись! Да и о Стеньке песни только в степях певали, а в училищах строго запрещалось! Вот тогда еще узнал я о казни на Болоте – рылся у нас в архивах, хотел в Москву ехать, куда донские дела того времени были от нас отосланы, а как случилась беда – все бросил! Вот сейчас с вами в первый раз разговариваю о нем.

И много мне Иван Иванович рассказал из преданий, сохранившихся в семьях потомков разинцев, хранивших эти предания от своих дедов, прадедов, участников разинского бунта, присутствовавших при казни, видевших, как на Болоте четвертовали их атамана и как голову его на высокий шест, рядом с помостом, поставили на берегу Москвы-реки.

– Тогда, перед казнью, много наших донцов похватили! Приехали они в Москву атамана спасать. Похватили и сослали кого в Соловки, кого куда. Уж через пять лет, когда воцарился Федор, вернули, и многие из них шли через Москву и еще видели на шесте, против Кремля, на Болоте, голову своего атамана.

Назвал он мне несколько фамилий, где еще живы предания меж стариков.

– Только вряд ли старики говорить будут. Опасаются чужих людей. Есть и прямые потомки Разина.

Пришли дети к чаю и перебили как раз на этих словах наш разговор. При детях старик об этом не говорил.

\* \* \*

Потом, на закате, на скамейке в саду он жалел, что пропали все песни и сказы о Разине, которые он собрал.

– Особенно жаль одну былинку, в Пятиизбянской станице я ее записал: о голове Стеньки, которая в полночь с Москвой-рекой разговаривает о том, что опять Разин явится на земле и опять поведет народ.

Я хотел уехать с почтовым поездом, – станция была рядом, – но он оставил меня ночевать и много-много рассказывал из донской старины. По его просьбе я раза три прочел ему поэму и обещал ее прислать.

Прощаясь, он сделал еще замечание:

– Да вот еще Фролка. У вас его казнили вместе с атаманом. Это неправда. Его отвели в тюрьму и несколько лет пытали и допрашивали, где Степан клады зарыл. Возили его сыщики и по Волге, и к нам на Дон привозили. Старики в Кагальнике мне даже места указывали, где Фролка указывал. Места эти разрывали, но нашли ли что, никто не знает, тайно все делалось. Старики это слышали от своих дедов очевидцев.

У казаков, с издревле и до последнего времени, говорится не Степан Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее.

«Стенька, Фролка – это пережиток старого, это позорящие имена. Надо говорить Степан, Фрол», – нередко приходится слышать такие замечания.

Это неверно. По-староказацки Стенька, Фролка – почетно. Такое прозвище заслужить надо.

Старинная песня пела про атамана, что «на том струге атаман сидит, что по имени Степан Тимофеевич, по прозванию Стенька Разин сын».

Это же было и с его предшественником, другим Тимофеевичем, Ермаком. Ермак – прозвание, его имя было Ермил. «Атаманом быть Ермилу Тимофеевичу», – поют в одной песне. В другой Ермак о себе: «Я шатался, мотался, Ермил, разбивал я, Ермил, бусы-корабли». Это было в донской его период, а потом, когда он на Волге и в Сибири прославился, – из Ермила стал Ермаком. На Дону и на низовьях Волги это было особенно в моде.

У Л. Н. Толстого в «Казаках» есть Ерошка. На самом деле это был удалец, герой, старый казак Елифан Сехин, но его из почтения звали дядя Епишка.

Когда его племянник, сын его брата Михаила, Димитрий Сехин, войсковой старшина, был в гостях в Ясной Поляне и назвал Льва Николаевича графом, – тот обиделся. Тогда Сехин стал его звать «Лев Николаевич».

«Нет, вы меня попроще, по-гребенскому. Как бы меня, старика, там вы звали?»

«Как самого почтенного человека – дядя Левка».

«Ну вот и хорошо, дядя Левка и зовите».

Многие незнающие редакторы исправляют Стеньку на Степана. Это большая и обидная ошибка: Стенька Разин – это почетно. Стенька Разин был один, а Степанов много...

– Поройтесь в московских архивах и летописях того времени! – посоветовал мне на прощанье Иван Иванович.

\* \* \*

Я записал рассказы старика и со скорым поездом выехал в Москву, нагруженный материалами, первое значение, конечно, придавая сведениям о Стеньке Разине, которых никогда бы не получил, и если бы не был репортером, легенда о Красной площади жила бы нерушимо и по сие время.

Вернувшись, я первым делом поблагодарил дочь Ивана Ивановича за знакомство с отцом, передал ей привет из дома и мою тетрадь со стихами, где был написан и «Стенька Разин». Стихи она впоследствии переписала для печати. В конце 1894 года я выпустил первую книгу моих стихов «Забытая тетрадь».

Но, издавая книгу, я, не имея документальных данных, напечатал о казни Стеньки Разина на Красной площади и вскоре, проездом на Дон, лично вручил мою книгу Ивану Ивановичу.

– Все-таки на Красной площади? – улыбнулся он.

– Да, не хотел пока идти против всех. Ведь и в песнях о Разине везде поют, что

В Москве на Красной площади

Отрубили ему буйну голову!

– Ну, конечно, так красивее! А все-таки!..

Он так много рассказал мне, что во втором издании «Забывтой тетради», в 1896 году, я сделал ряд изменений в поэме и написал:

...А народ еще с ночи толпою  
К месту казни шумливо спешит.

– Вот насчет Фролки... Ну это так, для стиха хорошо:

Изрубили за ним есаула,  
На кол головы их отнесли... —

читает он по книжке. – О, все-таки поройтесь в архивах!

– Да я уж пробовал, Иван Иванович! Обратился к самому главному начальнику с просьбой поискать материалов по бунту Разина для литературной работы, но его превосходительство так меня пугнуло, что я отложил всякие попытки.

«Прославлять вора, разбойника, которого по церквам проклинают!»

Горячилось его превосходительство, двигая вставными челюстями, и грозило принять какие-то меры против меня лично, если я осмелюсь искать материалы.

«Пока я жив, и вообще пока существует цензура, – этого не будет. Пока...»

Я не дал ему договорить, повернулся и, уходя, сказал: «Подождем, ваше превосходительство!»

Расхохотался Иван Иванович, хлопнул меня по плечу и ласково сказал:

– Дождешься, еще молод... Дождешься!

\* \* \*

Я вернулся в Москву из поездки по холерным местам и сдал в «Русские ведомости» «Письмо с Дона», фельетона на три, которое произвело впечатление на В. М. Соболевского и М. А. Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича:

– Удивительно интересно написано, но нельзя печатать!

И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.

\* \* \*

Я не любил работать в редакции – уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии! Наборщики – это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез! Первым делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя – потом я их развел много – подойдут, понюхают табаку и чихают. Смех, веселье! И метранпаж рад – после минутного веселого отдыха лучше работают.

– Что нового принесли? – любопытствует метранпаж И. П. Яковлев.

– Да вот, буду сдавать, Иван Пафнutyич.

И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектное – наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно: ведь одереветнееешь стоять за пахучими кассами и ловить, не глядя, освинцованными пальцами яти и еры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпации...

Тогда еще о наборных машинах не думали, электричества не было, а стояли на реалах жестяные керосиновые лампы, иногда плохо заправленные, отчего у наборщиков к утру под

носом было черно... Пахнет копотью, керосином, свинцовой пылью от никогда не мытого шрифта.

Как же не обрадовать эту молчаливую рать тружеников! И бросишь иногда шутку или экспромт, который тут же наберут потихоньку, и заходит он по рукам. Рады каждой шутке. Прямо, как войдешь, так и видишь, что набирают что-нибудь нудное: или передовую, или отчет земского заседания, или статистику. А то нервничают с набором неразборчивой рукописи какого-нибудь корифея. Особенно ругались, набирая мелкие и неясные рукописи В. И. Немировича-Данченко. Специально для него имелись два наборщика, которые только и привыкли разбирать его руку. Много таких «слепых» авторов было, и бегают наборщики друг к другу:

– Чего это накарябано – не разберу?

Жаль смотреть в такие вечера на наборщиков, и рады они каждому слову.

– Что новенького, Владимир Алексеевич? – И смотрят в глаза.

Делаешь серьезную физиономию, показываешь бумажку:

– Генерал-губернатор князь Долгоруков сегодня... оценился!

И еще серьезнее делаешь лицо. Все оторопели на миг... кое-кто переглядывается в недоумении.

– То есть как это? – кто-то робко спрашивает.

– Да вот так, взял да и оценился! Вот, глядите, – показываю готовую заметку.

– Да что он, сука, что ли? – спрашивает какой-нибудь скептик.

– На четырех лапках, хвостик закорючкой! – острит кто-то под общий хохот.

– Четыре беленьких, один рыжий с подпалинкой!

– Еще слепые, поди! – И общий хохот.

А я поднимаю руку и начинаю читать заметку. По мере чтения лица делаются серьезными, а потом и злыми. Читаю:

«Московский генерал-губернатор ввиду приближения 19 февраля строжайше воспрещает не только писать сочувственные статьи, но даже упоминать об акте освобождения крестьян».

Так боялась тогда администрация всякого напоминания о всякой свободе!

Слово «оценился» вошло в обиход, и, получая статьи нелюбимых авторов, наборщики говорили:

– Этот еще чем оценился?

Спустя долгое время я принес известие об отлучении Л. Н. Толстого от церкви и объявил в наборной:

– Победоносцев оценился!

– Ну, уж в это не поверим! – послышалось из угла.

– Ну, опоросился! – крикнули из другого.

– Вот это вернее! – И опять общий хохот.

Любили стихи наборщики. В свободные минуты просили меня прочесть им что-нибудь, и особенно «Стеньку Разина». Когда же справляли 25-летний юбилей метранпажа А. О. Кононова, то ко мне явилась депутация от наборной с просьбой написать ему на юбилей стихи, которые они отпечатали на плотной бумаге с украшением и поднесли юбиляру.

Я написал:

В жизни строгой и суровой,  
Труд поставив за кумир,  
Был ты в армии свинцовой  
Четверть века командир.  
Некрасивы, молчаливы

Эти полчища солдат.  
Четверть века ты на диво  
Выставлял их в стройный ряд.  
Чуть лишь полчище готово,  
Вмиг солдаты оживут, —  
Воплощал в живое слово  
У станка безмолвный труд...  
Тяжким воздухом свинцовым  
Четверть века ты дышал,  
Был всегда к труду готовым,  
День работал, ночь не спал.  
Велика твоя заслуга:  
Средь рабочей суеты  
Для чужого и для друга  
Был всегда отзывчив ты.  
С честью званье человека  
Носишь в жизни ты своей...  
Счастлив будь! Чрез четверть века  
Справим новый юбилей!

Стихотворную мою шутку на пьесу Л. Н. Толстого «Власть тьмы» в день ее первой постановки на сцене разнесли по Москве вмиг. На другой вечер всюду слышалось:

В России две напасти:  
— Внизу — власть тьмы,  
А наверху — тьма власти...

\* \* \*

Весело было в наборной и корректорской! К двенадцати часам ночи, если не было в Москве какого-нибудь особо важного случая, я всегда в корректорской. Здесь в это время я писал срочные заметки для набора и принимал моих помощников с материалом. Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии обер-полицмейстера, через руки которого проходили к начальству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил мне его в корректорскую. Благодаря ему мы не пропускали ни одного интересного события и обгоняли другие газеты, кроме «Московского листка», где Н. И. Пастухов имел другого такого чиновника, выше рангом, к которому попадали все рапорты раньше и уже из его рук к младшему, моему помощнику. У меня был еще сотрудник, Н. П. Чугунов, который мнил себя писателем и был о себе очень высокого мнения, напечатав где-то в провинции несколько сценок. У меня же он ограничивался ежедневным доставлением из типографии «Полицейских ведомостей», в которых сообщалось о приехавших и выехавших особах не ниже четвертого класса. Безобидный, мирный, громадный человечина был Н. П. Чугунов, но я раз шуткой его обидел.

В свободное между заметками время, за чаем, в присутствии корректоров, метранпажа и сотрудников я сказал, что приготовил для издания книгу своих рассказов и завтра несу ее в набор.

— Я тоже готовлю том своих сочинений! — важно заявил Н. П. Чугунов.

— Почему же не два, Николай Петрович, у тебя и на два наберется! Первый том — приехавшие, а второй — выехавшие!



Через год Н. П. Чугунов отомстил мне. Когда моя книга «Трущобные люди» была сожжена, он мне в той же корректорской при всех сказал:

– По нынешним временам выгоднее приехавших и выехавших писать – они мне триста рублей в год дают!

– Правда, Коля! А я вот триста рублей задолжал.

\* \* \*

Товарищество «Русских ведомостей» состояло из двенадцати пайщиков, почему Н. И. Пастухов в своем «Листке» и называл «Русские ведомости» газетой двенадцати братчиков.

– Поди-ка, пойми, – говаривал он, – где у них начинаются либералы и где кончаются обиралы.

По уставу Товарищества полагалось процентное вознаграждение из дивиденда каждому из всех служащих в редакции по расчету получаемого жалованья, так сказать, «участие в прибылях».

С покупкой дома и уплатой старых долгов дивиденда первое время не было, и только на 1890 год он появился в изрядной сумме, и было объявлено, что служащие получают свою долю. И действительно, все получили, но очень мало.

Славные люди были в конторе, служившие еще в старом доме. Ф. В. Головин, главный бухгалтер, тогда еще совсем молодой человек, очень воспитанный, сама доброта и отзывчивость, С. Р. Скородумов, принимавший объявления, Митрофан Гаврилов, строгого солдатского вида, из бывших кантонистов, любимец газетчиков и наборщиков, две славные, молчаливые барышни, что-то писавшие, – и глава над всем, леденившая своим появлением всю контору, Ю. Е. Богданова, сестра одного из пайщиков, писавшего статьи о банках.

Силу она забрала после смерти общего любимца В. С. Пагануцци, заведовавшего конторой и хозяйством. При нем все было просто, никакой казенщины и канцелярщины.

После В. С. Пагануцци конторой и хозяйством заведовали А. П. Лукин и М. А. Саблин, но я их никогда не видел в конторе. Главенствовала Ю. Е. Богданова. Она имела при конторе маленькую комнатку, поминутно шмыгала из нее в контору: остановится в дверях и смотрит сквозь очки, стриженная, в короткой юбке и черной кофте. Ее появление нервировало служащих. Ф. В. Головин устроился за своей конторкой спиной к ее двери, так же повернул свой стул и невозмутимый М. Г. Гаврилов, а С. Р. Скородумов загородился от ее взоров кучей книг на конторке.

– Чтобы не видеть! От ее глаз руки отваливаются! – говорил он.

Дошло ли это до Юлии Егоровны или уж просто она чувствовала ненависть старика, но его уволили.

На место его взяли славного юношу, сына Гаврилова, Колю, который служил долго.

Уже после я узнал, как все служащие, получавшие прежде праздничные подарки, ругались за грошовый дивиденд. Больше всех ругались швейцар и кухарка.

– На Рождество трешную допрежь того давали, на Пасху трешную, а теперь, гляди, дивиденд, проваленные, придумали, да вместо шести рублей семьдесят восемь копеек отвалили! Да пропадите вы пропадом! – и ушла с места, не попрощавшись.

А швейцар Леонтий, бывший солдат, читавший ежедневно газету с передовой до объявлений, так в наборной ругался, что теперь я повторить не могу, кроме только одной памятной фразы:

– Пишут одно, а делают другое, ихняя экономическая политика нам в карман лезет!

\* \* \*

Я время от времени заходил в редакцию. Отговорился от заведования отделом и работал эпизодически: печатал рассказы и корреспонденции, а по московской хронике ничего не давал.

Иногда заходил в типографию «табаку понюхать», попить чайку в корректорской и поболтать с друзьями-наборщиками. Сама же верхняя редакция мне опротивела чопорностью и холодностью.

Как-то Антон Чехов сказал о «Русской мысли»: «Там сидят копченые сиги!»

Когда я вернулся из весенней зелени степей, зашел в редакцию – будто в погреб попал, и все эти чопорные, застегнутые на все пуговицы члены профессорской газеты показались мне морожеными судаками. Все, чем я так недавно восторгался, особенно в той, первой, редакции, в Юшковом переулке, и здесь, в первые годы, теперь подверглось моему критическому разбору. Все, кроме В. М. Соболевского и Н. И. Бларамберга, да еще А. И. Чупрова, изредка бывавшего в редакции, стали какими-то высокопарными, уселись по отдельным кабинетам. И важны же были эти «мороженные судаки»!

Я стал работать в других газетах, а главным образом весь отдался спорту и коннозаводству, редактируя, как знаток конского дела, спортивный журнал.

В «Русских ведомостях» изредка появлялись мои рассказы. Между прочим, «Номер седьмой», рассказ об узнике в крепости на острове среди озер. Под заглавием я написал: «Посвящаю Г. А. Лопатину», что, конечно, прочли в редакции, но вычеркнули. Я посвятил его в память наших юных встреч Герману Лопатину, который тогда сидел в Шлиссельбурге, и даже моего узника звали в рассказе Германом. Там была напечатана даже песня «Слушай, Герман, друг прекрасный...».

Об этом знали и говорили только друзья в редакции. Цензуре, конечно, и на ум не пришло.

В 1896 году, перед коронационными торжествами, ко мне приехал М. А. Саблин и от имени редакции просил меня давать для газеты описания событий, связанных с торжествами.

Около двухсот русских и иностранных корреспондентов прибыло к этим дням в Москву, но я был единственный из всех проводивший всю ночь в самом пекле катастрофы, среди многотысячной толпы, задышавшейся и умиравшей на Ходынском поле.

Накануне народного праздника вечером, усталый от дневной корреспондентской работы, я прямо из редакции «Русских ведомостей» решил поехать в скаковой павильон на Ходынку и осмотреть оттуда картину поля, куда с полудня шел уже народ.

Днем я осматривал Ходынку, где готовился народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешанными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд барачных с бочками для пива и меда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого М. В. Лентовского и актера Форкатия и, наконец, главный соблазн – сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружек.

Хорошенькие эмалевые белые с золотом и гербом, разноцветно разрисованные кружки были выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый шел на Ходынку не столько на праздник, сколько за тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский павильон, единственное уцелевшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовало над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным желтым пятном зиял глубокий ров – место прежних выставок. Ров шириной сажень в тридцать, с обрывистыми берегами, отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с изрытым неровным дном, откуда долгое время брали песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянулся сажень на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми буграми. А справа к лагерю, над обрывистым берегом рва, почти рядом с краем ее, сверкали заманчиво на солнце ряды будочек с подарками.

\* \* \*

Когда я вышел из Чернышевского переулка на Тверскую, она кишела гуляющими москвичами, а вереницы рабочего народа с окраин стремились по направлению к Тверской заставе. Извозчиков по Тверской не пускали. Я взял у Страстного лихача, надел ему на шляпу красный кучерский билет, выданный корреспондентам для проезда всюду, и через несколько минут, лавируя среди стремительных толп, был на скачках и сидел на балконе членского павильона, любуясь полем, шоссе и бульваром: все кишело народом. Гомон и дым стояли над полем.

Во рву горели костры, окруженные праздничным народом.

– До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они, рядом!

Оставив павильон, я пошел на Ходынку мимо бегов, со стороны Ваганькова, думая сделать круг по всему полю и закончить его у шоссе. Поле было все полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая. Ходили мороженщики, разносчики со сладостями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошастью – это подгородные гости. Шум, говор, песни. Веселье вовсю. Подбираясь к толпе, я взял от театра направо к шоссе и пошел по заброшенному полотну железной дороги, оставшейся от выставки: с нее было видно поле на далеком расстоянии. Оно тоже было полно народом. Потом полотно сразу оборвалось, и я сполз по песку насыпи в ров и как раз наткнулся на костер, за которым сидела компания и в том числе мой знакомый извозчик Тихон от «Славянского базара», с которым я часто ездил.

– Пожалуйте рюмочку с нами, Владимир Алексеевич! – пригласил он меня, а другой его сосед уж и стаканчик подает. Выпили. Разговариваем. Я полез в карман за табакеркой. В другой, в третий... нет табакерки! И вспомнилось мне, что я забыл ее на столе в скаковом павильоне. И сразу все праздничное настроение рухнуло: ведь я с ней никогда не расстаюсь.

– Тихон, я ухожу, я табакерку забыл!

И, несмотря на уговоры, встал и повернул к скачкам.

Поле гудело на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. Прямо к скачкам пройти было невозможно, все было забито, кругом море народа. Я двигался посредине рва, с трудом лавируя между сидящими и прибывающими новыми толпами со стороны скачек. Душно было и жарко. Иногда дым от костра прямо окутывал всего. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли. Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего толкаешься!» Я повернул направо по дну рва навстречу наплывавшему люду: все стремление у меня было – на скачки за табакеркой! Над нами встал туман.

Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то... Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащими головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги его на весу, не чувствуют земли... Вот она, смерть неминуемая! И какая!

\* \* \*

Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на есть, – все-таки жизнь. Может

быть, предсмертная борьба, а здесь – тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец, повернулся. За мной возвышалось полотно той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спяянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих. Это было именно то самое место, где я сидел с извозчиком Тихоном и откуда ушел только потому, что вспомнил табакерку.

\* \* \*

Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.

Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидел только крыши будок, и вдруг одна куда-то исчезла, с другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали: «Дают!.. давай!.. дают!..» – и опять повторяется: «Ой, убили, ой, смерть пришла!..»

И ругань, неистовая ругань. Где-то почти рядом со мной глухо чмокнул револьверный выстрел, сейчас же другой, и ни звука, а нас все давили. Я окончательно терял сознание и изнемогал от жажды.

Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смахнул туман и открыл синее небо. Я сразу ожил, почувствовал свою силу, но что я мог сделать, впаянный в толпу мертвых и полуживых? Сзади себя я слышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовалась жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали, толкали.

Оказалось, что десяток конных казаков разгонял налезавших сзади, прекращая доступ новым, прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот растаскивали толпу и, так сказать, разбирали снаружи эту народную стену. Это понял народ и двинулся назад, спасая свою жизнь. Я бросился среди убежавших, которым было уже не до кружки и не до подарка, и, вырвавшись, упал около забора беговой аллеи. Я рвал траву и ел, это утоляло жажду, и я забылся. Сколько времени это продолжалось – не знаю. Когда пришел в себя, почувствовал, что лежу на камне. Полез в задний карман и нашел там табакерку... Я лежал на ней и думал – камень!

– К черту смерть! К черту Ходынка! Вот она где!

Я воскрес, смотрю на сверкающее солнце и сам не верю. Открываю, нюхаю. И всю усталость, весь ужас пережитого как рукой сняло. Я никогда и ничему так не радовался, как этой табакерке. Это был подарок моего отца.

«Береги на счастье», – сказал он мне, даря ее еще в 1878 году, когда я приехал к нему, вернувшись с турецкой войны. И это счастье я чувствовал.

В этот миг я думал только об одном – попасть домой, взять ванну и успокоить своих. Я забыл и газеты и корреспондентскую работу, мне противно было идти на Ходынку. Я бросился по аллее к шоссе мимо стремящихся туда и оттуда толп, галдевших, торопившихся. На мое счастье, из скаковой аллеи выезжал извозчик. Я вскочил на пролетку, и мы поехали по шоссе, кипящему народом. Извозчик мне что-то говорил, но я не понимал, с восторгом нюхал табак, а у Тверской заставы, увидав разносчика с апельсинами, остановил лошадь, схватил три апельсина, взяв деньги из промокшей насквозь от пота пачки новеньких кредиток. Съел сразу два апельсина, а третьим, разорвав пополам, вытер себе пылавшее лицо.

Навстречу громыхали пожарные фуры, шли наряды полиции.

В Столешниковом переулке, расплатившись с извозчиком, я тихо своим ключом отпер дверь квартиры, где все еще спали, и прямо – в ванную; напустил полную холодной воды, мылся, купался.

Несмотря на душистое мыло, все же чувствовалось зловоние. Мое разорванное, провявшее пальто я спрятал в дрова, прошел в кабинет и через минуту уснул.

В девять часов утра я пил в семье чай и слушал рассказы об ужасах на Ходынке:

– Говорят, человек двести народу передавили! Я молчал.

Свежий и выспавшийся, я надел фрак со всеми регалиями, как надо было по обязанностям официального корреспондента, и в 10 часов утра пошел в редакцию. Подхожу к Тверской части и вижу брандмейстера, отдающего приказание пожарным, выехавшим на площадь на трех фурах, запряженных парами прекрасных желтопегих лошадей. Брандмейстер обращается ко мне:

– Поглядите, Владимир Алексеевич, последние пары посылаю!

И объяснил, что с Ходынки трупы возят.

Я вскочил на фуру без пальто, во фраке, в цилиндре, и помчался. Фуры громыхали по каменной мостовой. Народу полна Тверская.

Против фабрики Сиу, за заставой, повстречались две пожарные фуры, полные покойников. Из-под брезентов торчат руки, ноги и болтается ужасная голова.

Никогда не забыть это покрытое розовой пеной лицо с высунутым языком! Навстречу ехали такие же фуры.

По направлению к Москве плетется публика с узелками и кружками в руках: подарки получили!

У бегущих туда на лицах любопытство и тревога, у ползущих оттуда – ужас или безразличие.

\* \* \*

Я соскочил с фуры: не пускают. Всемогуций корреспондентский билет дает право прохода. Я иду первым делом к наружной линии будок, которые на берегу рва, я их видел издали утром из-под насыпи. Две снесены, у одной сорвана крыша. А кругом – трупы... трупы...

Описывать выражение лиц, описывать подробности не буду. Трупов сотни. Лежат рядами, их берут пожарные и сваливают в фуры.

Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы полны трупами. Здесь главное место гибели. Многие из людей задохлись, еще стоя в толпе, и упали уже мертвыми под ноги бежавших сзади, другие погибли еще с признаками жизни под ногами сотен людей, погибли раздавленными; были такие, которых душили в драке, около будочек, из-за узелков и кружек. Лежали передо мной женщины с вырванными косами, со скальпированной головой.

Многие сотни! А сколько еще было таких, кто не в силах был идти и умер по пути домой. Ведь после трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за двадцать пять верст от Москвы, а сколько умерло в больницах и дома! Погиб и мой извозчик Тихон, как я узнал уже после.

\* \* \*

Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между трупами. В овраге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ в овраг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь находился довольно глубокий колодец со времен выставки, забитый досками и засыпанный землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нем уже стояли люди. Стояли и умирали. Всего было вынута из колодца двадцать семь трупов. Между ними оказался один живой, которого только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка.

Праздник над трупами начался! В дальних будках еще раздавались подарки. Программа выполнялась: на эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры.

У колодца я услышал неудержимый смех. Вынутые трупы лежали передо мной, два в извозчичьих халатах, и одна хорошо одетая женщина с изуродованным лицом была на самом

верху – лицо ногами измято. Сначала из колодца достали четверых мертвых, пятый был худощавый человек; оказался портной с Грачевки.

– Живой этот! – кричит казак, бережно поднимая его кверху из колодца. Поднятый шевелил руками и ногами, глубоко вздохнул несколько раз, открыл глаза и прохрипел:

– Мне бы пивца, смерть пить хотца! И все расхохотались.

Когда мне это рассказывали, тоже хохотали.

Нашли офицера с простреленной головой. Тут же валялся револьвер казенного образца. Медицинский персонал ходил по полю и подавал помощь тем, у кого были признаки жизни. Их развозили по больницам, а трупы на Ваганьково и на другие кладбища.

\* \* \*

В два часа я уже был в редакции, пришел в корректорскую и сел писать, затворив дверь. Мне никто не мешал. Закончив, сдал метранпажу на набор. Меня окружили наборщики с вопросами и заставили прочитать. Ужас был на всех лицах. У многих слезы. Они уже знали кое-что из слухов, но все было туманно. Пошли разговоры.

– На беду это! Не будет проку в этом царствовании! – самое яркое, что я слышал от старика наборщика. Никто не ответил на его слова, все испуганно замолчали... и перешли на другой разговор.

Метранпаж сказал:

– Надо подождать редактора!

– Наберем! Давай набирать! – закричали наборщики.

– В гранках редактор прочтет! – И десятки рук потянулись к метранпажу.

– Наберем! – И, разделив на куски, стали набирать.

Я вернулся домой пешком – извозчиков не было – и, не рассказывая подробностей пережитого, лег спать. Проснулся на другое утро в 8 часов и стал готовиться к работе. Подали «Московские ведомости», «Московский листок». О катастрофе ничего не нашел. Значит, запретили! Собрался перед работой забежать в «Русские ведомости», взять на память грядущим поколениям гранки статьи, если успели набрать. Принесли наконец «Русские ведомости». Глазам не верю: ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА – крупное заглавие, – план катастрофы и подпись «В. Гиляровский». Домашние в ужасе смотрят на меня. Замерли и смотрят. А я, свежий, прекрасно выспавшийся, чувствую себя вполне нормально. Рассказываю о своем путешествии, прежде взяв слово, чтобы меня не ругали, так как – победителей не судят! А я чувствовал себя победителем!

Входят двое: русский, Редер, корреспондент австрийской газеты, а с ним японец, корреспондент токийской газеты. Меня интервьюируют. Японец с удивлением смотрит на меня, поражается, а Редер сообщает, что «Русские ведомости» арестованы и в редакции у газетчиков отбирают номера газеты.

Они уходят, я надеваю фрак и хочу идти. Звонок. Входят еще трое: мой знакомый, старый москвич Шютц, корреспондент какой-то венской газеты, другой, тоже знакомый, москвич, американец Смит, который мне представляет типичнейшего американского корреспондента газеты. Корреспондент ни слова по-русски, ему переводит Смит. Целый допрос. Каждое слово американец записывает.

На другой день Смит сказал, что американец послал телеграмму в 2 тысячи слов – всю мою статью, все, рассказанное мной.

Я бросился первым делом в редакцию. Там В. М. Соболевский и М. А. Саблин. Радостно меня встречают. Благодарят. На дворе шумят газетчики – получают газету для розницы, мне устраивают овацию.

– Действительно, – говорит В. М. Соболевский, – газету, как только ее роздали для разности подписчикам, явившаяся полиция хотела арестовать, но М. А. Саблин поехал к гене-

рал-губернатору и узнал, что газету уже разрешили по приказанию свыше. Целый день допечатывали газету. Она была единственная с подробностями катастрофы.

В корреспондентском бюро меня тоже встретили овацией русские и иностранные корреспонденты. Интервьюировали, расспрашивали, осматривали, фотографировали. Художник Рубо зарисовал меня. Американцы и англичане ощупывали мои бицепсы и только тогда поверили, что все написанное – правда, что я мог вынести эту давку.

## «Русская газета»

«Русская газета» – было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70 процентов скидки.

Издавалась «Русская газета» несколько лет. Основал ее какой-то Александровский, которого я в глаза не видал, некоторое время был ее соиздателем Н. И. Пастухов, но вскоре опять ушел в репортерскую работу в «Современные известия», потратив последние гроши на соиздательство.

В 1880 году издавал газету И. И. Смирнов, владелец типографии и арендатор всех театральных афиш, зарабатывавший хорошие деньги, но всегда бывший без гроша и в долгу, так как был азартный игрок и все ночи просиживал за картами в Немецком клубе. В редких случаях выигрыша он иногда появлялся в редакции и даже платил сотрудникам. Хозяйственной частью ведал соиздатель И. М. Желтов, одновременно и книжник и трактирщик, от которого зависело все дело, а он считал совершенно лишним платить сотрудникам деньги.

– За что? У тебя фирма есть – тебя печатаем, чего же тебе еще? Ну и кормись сам.

Многие и кормились, помещая рекламные заметки или собирая объявления за счет гонорара. Ухитрялась получать от И. И. Смирнова деньги заведовавшая редакцией «Соколиха», Александра Ивановна Соколова, которой было «все все равно» и которая даже не обиделась, когда во время ее отпуска фельетонист Добронравов в романе «Важная барыня» вывел ее в неказистом виде. Добронравов в романе вставлял рекламы фирм и получал с них за это взятки.

Кормились объявлениями два мелких репортерчика Козин и Ломоносов. Оба были уже весьма пожилые. Козин служил писцом когда-то в участке и благодаря знакомству с полицией добывал сведения для газеты. Это был маленький, чистенький старичок, живой и быстрый, и всегда с ним неразлучно ходила всюду серенькая собачка-крысоловка, обученная им разным премудростям. И ее и Козина любили все. Придет в редакцию – и всем весело. Сядет. Молчит. Собачка сидит, свернувшись клубочком, у его ноги. Кто-нибудь подходит.

– Мосявка, дай лапку!

Ощетинится собака, сидит недвижимо и жестоко начинает лаять.

– Дай лапку!

Еще больше лает и злится. Все присутствующие смотрят, знают, что дальше будет, и ждут. Подходит кто-нибудь другой.

– Мосява Мосявовна, сообразовите ножку дать, – и наклоняется к ней.

Мосявка важно встает, поворачивается к говорящему задом и протягивает левую заднюю ногу.

И это повторяется несколько раз – даже сам сумрачный И. М. Желтов улыбается. Лет десять я помнил Козина с Мосявкой.

Ломоносов был не Ломоносов, а Свистунов, бывший конторщик, горький пьяница. Что он Свистунов, почти никто не знал: Ломоносов да Ломоносов. А это прозвище он получил за то, что у него в драке когда-то был переломлен нос и торчал кончик его как-то вправо. Он давал торговые сведения и, как говорили, собирал милостыню по церквам на паперти.

В этом мне пришлось убедиться года через три после наших встреч в редакции «Русской газеты».

\* \* \*

В темном, душном подвале анатомического театра лежало десять трупов. Исхудалые, истощенные, изломанные. Между ними лежал труп девушки лет шестнадцати.

Это все жертвы катастрофы, случившейся накануне, и катастрофы странной, небывалой.



В погоне за десятикопеечной подачкой десяти тысячная толпа задавила десять человек. За два дня перед этим умер московский миллионер, чайный торговец А. С. Губкин.

В день смерти вечером проходившим мимо громадного, мрачного с виду дома Губкина нескольким нищим подали по серебряной монете с просьбой помянуть усопшего. С быстротой телефона по ночлежным приютам распространился между нищими слух, что на поминание Губкина раздают деньги пригоршнями.

Тревожно провели нищие эту ночь в ожидании подаяния, в ожидании горсти серебра на каждого. Еще затемно толпы их хлынули на Рождественский бульвар, но решетчатые железные ворота были закрыты. Стучались, просили, дрожали на морозе, стоя полубосыми ногами на льду тротуара и на снегу мостовой. А народ с каждой минутой прибывал.

Сотни нищих бежали со всех улиц и переулков, и скоро десяти тысячная толпа заняла проезд Рождественского бульвара от Сретенских ворот до Трубной площади. Ни прохода, ни проезда. Толпа была словно спаянная: яблоку упасть было некуда.

Набег нищих настолько был стремителен, что полиция не успела принять никаких мер... Катастрофу не предупредили, она должна была случиться и случилась. Ворота все еще не отпирались, сунутые несколько двугривенных только зажгли толпу, каждый стремился пролезть вперед, толпа хлынула и прижала несчастных, добившихся своей цели: встать первыми у железных ворот.

В то время тротуар у этого дома был очень высок, чуть не на аршин выше мостовой. Стоявшие на мостовой равнялись головами с поясом стоявших на тротуаре. Всем хотелось быть ближе к воротам, ближе к цели. С мостовой влезали, хватаясь за платье стоявших выше, и падали вместе с ними. Кто-то вдруг из передних крикнул:

– Подавать на-чали!..

Как один человек, вся толпа подвинулась на шаг вперед. Кого-то стащили с тротуара, наступили на него, раздался страшный крик:

– Задавили!..

Толпа ломилась еще больше. Сзади давили на ворота, ближайшие от ворот, задыхаясь в давке, стремились назад, падали с высокого тротуара на мостовую, на них лезли задние, не видя, что творится впереди. Гул толпы прерывался криками о помощи и предсмертными стонами. Когда уже все свершилось, явилась полиция и казаки. Дворники били нищих палками, городовые – ножнами, казаки – плетью. Эти поминки надолго у многих не изгладились из памяти, хотя рубцы уже давно зажили. Опорков и рваных шапок увезли с места давки два воза.

Это было 28 ноября 1883 года. Вскоре после этого я встретил Козина с его Мосявкой, и он сказал мне, что в числе задавленных на Рождественском бульваре был и сотрудник «Русской газеты» Свистанов-Ломоносов.

\* \* \*

Газета давно уже прекратилась, ее в первый же год забил «Московский листок», а все-таки мне вспоминается один факт, связанный со временем моего в ней кратковременного сотрудничества.

Десятки лет в Московском зоологическом саду жил до самой своей смерти Мамлик, величайший слон в Европе, привезенный из Индии. Равного ему не было даже в берлинском зоологическом саду.

Это было огромное существо добрейшего нрава, любимец москвичей, а особенно детей, которых водили смотреть слона даже из далеких в то время мест Рогожской и Таганки.

У его логовища стоял сторож – его друг, который торговал булками, и публика их покупала и собственноручно совала в хобот. Помню курьез. В числе публики, кормившей булками Мамлика, был мальчик лет восьми, который, сняв свою соломенную шляпенку, начал совать ее слону в хобот. Мамлик взял шляпу, и она в один миг исчезла у него во рту. Публика захохотала, мальчик в слезы.

– Зачем шляпу под хвост сунул! Дяденька, отдай, мама ругаться будет, – рыдая, обращался он к слону.

Милый был слон! Но бывали весенние дни, когда он бунтовал, и его заранее, видя признаки наступающей поры любви, очень крепко приковывали на специальные цепи.

В эти дни он был особенно буен и стремился все разрушать. Но раз, совсем неожиданно, такой период пришел осенью. Мамлик сорвался с цепей и вышел в задние ворота зоологического сада.

Это было после обеда. Слон зашагал по Большой Пресне, к великому ужасу обывателей и шумной радости мальчишек и бежавшей за ним толпы. Случилось это совершенно неожиданно и в отсутствие его друга сторожа. Другие сторожа и охочие люди из толпы старались, забегая вперед, вернуть его обратно, но слон, не обращая внимания ни на что, мирно шагал, иногда на минуту останавливаясь, поднимал хобот и трубил, пугая старух, смотревших в окна.

Начальство сада перепугалось и послало по трактирам отыскивать сторожа. Мирно подошел слон к заставе, остановился около полицейской будки, откуда выскочил городской и, обнажив ржавую «селедку», бросился к великану, «делающему непорядок».

Ударил ли он пашкой слона или только замахнулся, но Мамлик остервенел и бросился за городовой, исчезнувшим в двери будки. Подняв хобот, слон первым делом сорвал навес крыльца, сломал столбы и принялся за крышу, по временам поднимая хобот и трубя. Городовой пытался спастись в заднее окно, но не мог вылезть: его толстая фигура застряла, и он отчаянно вопил о помощи.

Нашлись смельчаки, протащившие его сквозь маленькое окно не без порчи костюма. А слон разносил будку и ревел. Ревела и восторженная толпа, в радости, что разносит слон будку, а полиция ничего сделать не может. По Москве понеслись ужасные слухи. Я в эти часы мирно сидел и писал какие-то заметки в редакции «Русской газеты». Вдруг вбегает издатель-книжник И. М. Желтов и с ужасом на лице заявляет:

– Сейчас народ бежит с Пресни, там бунт. Рабочие взбунтовались, зверей из зоологического сада выпустили. Тигров! Львов!.. Ужас! Узнай, пожалуйста, – обратился он ко мне.

Я побежал – трамваев тогда не было, а извозчики не по карману – и у зоологического сада увидел толпы народа. В саду я узнал подробности. Озаглавил заметку «Взбунтовавшийся слон на Пресне».

Заметка эта не пошла, так как цензура послала распоряжение – никаких подробностей происшествия не сообщать. Зато слухи в городе и по губерниям разошлись самые невероятные. Многие возвратились с дач, боясь за своих родных в Москве и за свое имущество.

Первая публикация появилась в Петербурге, куда я послал сообщение А. А. Соколову для «Петербургского листка», а потом его перепечатала провинция, а в Москве появились только краткие известия без упоминания о городовой и разнесенной будке.

Это был в Москве первый «бунт» против полицейской власти и первый случай разгрома казенного здания – более сорока лет тому назад. И это случилось на Пресне.

## «Современные известия»

«Современные известия» около двадцати лет издавал известный публицист Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр Духовной академии, славянофил и сотрудник И. С. Аксакова.

Было время, когда «Современные известия» были самой распространенной газетой в Москве и весьма своеобразной: с одной стороны, в них печатались политические статьи, а с другой – они с таким же жаром врывались в общественную городскую жизнь и в обывательщину. То громили «Коварный Альбион», то с не меньшим жаром обрушивались на бочки «отходников», беспокоивших по ночам Никиту Петровича Гилярова-Платонова, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переулка, в нижнем этаже, окнами на улицу.

Н. П. Гиляров-Платонов был человеком именно не от мира сего. Он спал днем, работал ночью, редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал.

Я только один раз был у него летом, кажется, в мае месяце. Он, по обыкновению, лежал на диване; окна были открыты, была теплая ночь, а он в меховой шапке читал гранки. Руки никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Тогда газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью – второй редактор, племянник его Ф. А. Гиляров, известный педагог-филолог и публицист. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

Его перу принадлежал в «Современных известиях» ряд фельетонов о наших революционерах в Швейцарии – тема, по тому времени совершенно запрещенная.

Статьи эти случайно проскочили в «Современных известиях» благодаря почтению к имени Н. П. Гилярова-Платонова, но когда Ф. А. Гиляров собрал их в отдельную книгу, то пропущены они не были.

Кроме того, Федор Александрович писал недурные театральные рецензии, а затем сам издавал какой-то театральный листок, на котором прогорел вдребезги.

Самыми хлесткими сотрудниками, делавшими успех газеты в розницу, были фельетонисты П. А. Збруев, чиновник особых поручений при секретном отделении обер-полицмейстера, благодаря своей службе знавший все тайны Москвы, и Н. И. Пастухов.

Первый писал воскресные фельетоны под псевдонимом «Берендей», а второй – московские заметки, которые подписывал «Старый знакомый».

Среди недели они также помещали мелкие наброски, в которых тот и другой «прохватывали» и «протаскивали» богачей купцов и обывателей, не щадя интимных сторон жизни, и имели огромный успех.

Москва читала взасос эти фельетоны, дававшие огромный материал для излюбленных тогда сплетен.

Надо еще заметить, что, «Современные известия» были единственной газетой, не стеснявшейся пробирать всю духовенство и даже полицию.

Большим успехом пользовались в газете обличительного характера заметки Н. Седелникова, автора нескольких романов. Его фельетон в стихах, подражание «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова, наделал много шума.

Здесь досталось буквально всем москвичам, от самых высших до самых низших, и все себя узнавали, но так было ловко написано, что придраться было нельзя. Особенно досталось крупным московским капиталистам, которых он смешал с грязью.

Если им до его фельетона жилось спокойно, то после него они стали притчей во языцех, и оказалось, что никому в Москве хорошо не жилось, кроме ростовщиков: им было все равно – пиши не пиши!

И шло бы все по-хорошему с газетой. Но вдруг поступила в контору редакции, на 18 рублей жалованья, некая барынька Мария Васильевна, и случилось как-то, что фактическое распоряжение кассой оказалось у нее в руках.

Надо сказать, что здесь и намека на какой-нибудь роман не было, а просто Никита Петрович Гиляров-Платонов доверял ей вполне и во всем. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Ее место заступил новый управляющий, неизвестно кем рекомендованный, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Н. П. Гиляров-Платонов отвечал всем одно и то же:

– А, оставьте эти деньги, так это все противно!

Наконец в 1887 году «Современные известия», окончательно забитые конкуренцией «Московского листка», закрылись. Вскоре умер Никита Петрович Гиляров-Платонов.

## «Московский телеграф»

«Московский телеграф». Первого января 1881 года в Москве вышла самая большая по размеру и, безусловно, самая интересная по статьям и информации газета «Московский телеграф».

Редактор-издатель ее был Игнатий Игнатьевич Родзевич.

Интересные сведения и даже целые статьи, появившиеся накануне в петербургских газетах, на другой день перепечатывались в Москве на сутки раньше других московских газет, так как «Московский телеграф» имел свой собственный телеграфный провод в Петербург, в одной из комнат редакции, помещавшейся на Петровке в доме Московского кредитного общества.

В газете приняли участие лучшие литературные силы. Особенно читались фельетоны Д. Д. Минаева, пересыпавшего прозу стихами самого нецензурного по тому времени содержания.

Преобразование полиции, совершившееся тогда, Д. Д. Минаев отметил так:

Мы все надеждой занеслись —  
Вот-вот пойдут у нас реформы.  
И что же? Только дождались —  
Городовые новой формы!

В письмах о Москве он писал:

Москва славна Тверскою,  
Фискалом М. Н. К.<sup>2</sup>  
И нижнею губою  
Актера Бурлака.

О Петербурге:

Великий Петр уже давно  
В Европу прорубил окно,  
Чтоб Русь вперед стремилась ходко.  
Но затрудненье есть одно —  
В окне железная решетка.

В этом же духе были статьи, фельетоны и корреспонденции, не щадившие никого.

Цензура ошалела и руками разводила, потому что, к великому ее удивлению, нагоняев пока из Петербурга не было, а ответа на цензорские донесения о прегрешениях газеты Московским цензурным комитетом, во главе которого стоял драматург В. И. Родиславский, не получалось.

Говорили, что за И. И. Родзевичем стояло в Петербурге какое-то очень крупное лицо. Пошла газета в розницу, пошла подписка.

Особенно резки были статьи Виктора Александровича Гольцева, сделавшие с первых номеров газету популярной в университете: студенты зачитывались произведениями своего любимого профессора и обсуждали в своих кружках затронутые им вопросы.

«Московские ведомости» то и дело писали доносы на радикальную газету, им вторило «Новое время» в Петербурге, и, наконец, уже после 1 марта 1881 года посыпались кары: то

---

<sup>2</sup> Катков М. Н.

запретят розницу, то объявят предупреждение, а в следующем, 1882 году газету закрыли административной властью на шесть месяцев – с апреля до ноября. Но И. И. Родзевич был неисправим: с ноября газета стала выходить такой же, как и была, публика отзывалась, и подписка на 1883 год явилась блестящей.

Правительство наказало подписчиков: в марте месяце газету закрыли навсегда «за суждения, клонящиеся к восстановлению общественного мнения против основных начал нашего государственного строя и неверном освещении фактов о быте крестьян».

Незадолго перед этим цензура закрыла по тем же самым мотивам журнал «Земство», выходивший с 1880 года под редакцией В. Ю. Скалона, постоянного сотрудника «Русских ведомостей». Полоса реакции после 1 марта разыгралась вовсю!

## «Русский курьер»

«Русский курьер» основан был В. Н. Селезневым в 1879 году, но шел в убыток. Пришлось искать денег. Отозвался московский купец Н. П. Ланин, владелец известного завода шипучих вод и увековечивший свое имя производством искусственного «ланинского» шампанского, которое подавалось подвыпившим гостям в ресторанах за настоящее и было в моде на всех свадьбах, именинах и пирушках средней руки.

От ланинского редерера  
Трещит и пухнет голова!

На его красивом, с колоннами доме у Москворецкого моста, рядом с огромной вывеской, украшенной гербом и десятком медалей с разных выставок, появилась другая вывеска: «Русский курьер» – ежедневная газета».

Под газетой стояла подпись: «Издатель – Н. П. Ланин, редактор – В. Н. Селезнев». Вид газета имела самый провинциальный. Полстраницы последней полосы занимало чуть ли не единственное объявление с гербами и медалями о шипучих водах и «ланинском» шампанском.

Н. П. Ланину, обладавшему огромным капиталом и состоявшему гласным Городской думы, спалось и виделось быть редактором.

Откупившись от В. Н. Селезнева, он с рекомендациями «хозяина столицы» князя В. А. Долгорукова и со свидетельством благонадежности от обер-полицмейстера поехал в Петербург в Главное управление по делам печати просить о назначении его редактором.

Ценз у Н. П. Ланина для редактора был весьма желательный для правительства: московский купец первой гильдии, фабрикант поддельного русского шампанского да еще рекомендованный генерал-губернатором как благонадежный обыватель.

Утвердили Н.П.Ланина редактором-издателем: пусть рекламирует шипучие воды и русское шампанское. Но и с новым редактором газета не шла.

На счастье Н. П. Ланина, в это время молодой приват-доцент по полицейскому праву, уже сверкавший на кафедре Московского университета, В. А. Гольцев «за неблагонадежность и внедрение вредных идей молодежи» был лишен кафедры.

Молодому ученому, подававшему большие надежды, пришлось искать заработка, и он перешел в журналистику, сделавшись постоянным сотрудником «Московского телеграфа». Н. П. Ланин предложил ему организовать редакцию и быть фактическим редактором «Русского курьера», газеты без предварительной цензуры.

Принял В. А. Гольцев предложение, но только с одним условием, чтобы Н. П. Ланин совершенно не вмешивался в редакционные дела.

Н. П. Ланин согласился на все условия, и В. А. Гольцевым была составлена молодая редакция, в которую вошли и народники: Ф. Д. Нефедов, С. А. Приклонский, только что вернувшийся из ссылки, Н. М. Астырев, П. И. Кичеев, сибиряк М. И. Мишла-Орфанов, В. И. Немирович-Данченко и многие другие передовые люди того времени.

Сразу газета расцвела и засверкала к ужасу цензоров и администрации. Подписки было еще мало, но газета блестяще шла в розницу.

Н. П. Ланин ликовал, «ланинское» шампанское, усиленно рекламированное, шло великолепно и покрывало расходы по газете. Газета, как обухом по лбу,хватила и цензуру и разрешившую Н. П. Ланину газету администрацию своим неслыханным дотоле ярким либерализмом.

Подписка на 1881 год шла великолепно, особенно по провинции, жадной до всякого либерального слова.

В Москве шла только розница. Москвичам были интереснее фельетоны Збруева в «Современных известиях» и «Московский листок» Н. И. Пастухова. Эти два издания начали глумиться над «Русским курьером», называя его не иначе, как «кислощейной газетой», а самого Н. П. Ланина – липовым редактором.

Обидно это было «кандидату в городские головы». Иронизировали над ним и юмористические журналы. Особенно же его прямо-таки убила карикатура, пущенная Н. И. Пастуховым в своем юмористическом журнале «Колокольчик».

Приемная комната. У затворенной двери с надписью «Редакция» стоит, нагнувшись, как живой, Н. П. Ланин и, приложив ухо к замочной скважине, сосредоточенно слушает. А внизу подпись: «Хоть отсюда послушать, о чем толкуют мои молодцы!»

Ни в городе, ни даже в Думе ему после этого проходу не было – смеялись:

– О чем там толкуют твои молодцы?!

Эта насмешка окончательно обозлила Н. П. Ланина, и он решил неукоснительно избавиться от В. А. Гольцева, уже редактировавшего около двух лет газету, что было известно всей Москве, и самому стать фактическим редактором.

Н. П. Ланину и тут помогло счастье. Газета действительно сверкала яркостью, и, наконец, ей дали уже второе предостережение и лишили розницы «за вредное направление, выражающееся в суждениях о существующем государственном строе и в подборе и неверном освещении фактов, чтобы возбудить смуту в умах».

Этим удобным случаем и воспользовался Н. П. Ланин, чтобы отказать В. А. Гольцеву и самому сесть в редакторское кресло, с которого, как ему казалось, удобно перебраться и в кресло городского головы.

Ушел В. А. Гольцев, ушли с ним его друзья, главные сотрудники, но либеральный дух, поддерживаемый Н. П. Ланиным, как ходовой товар, остался, только яркость и серьезность пропали, и газета стала по отношению к прежней, «гольцевской», как «ланинское» шампанское к настоящему редеру.

Провинция этого не раскусила сначала и продолжала подписываться, а Н. П. Ланин уже видел себя московским городским головой.

Сидела как-то в ресторане «Петергоф» тесная компания сотрудников одной газеты и решила вышутить Н. П. Ланина.

Один из поэтов, кажется, Петр Иванович Кичеев, на поданном ресторанном счете написал звучное стихотворение в десять строк, подходящее к моменту, весьма либеральное и вполне цензурное. Прочел его сидящим. Все были в восторге, но когда поэт показал маленький секрет написанного, все разразилось неудержимым хохотом.

Потребовали конверт, почтовой бумаги, марки и при серьезном письме «уважаемому господину редактору» послали Н. П. Ланину это произведение.

На другой день стихотворение появилось в «Русском курьере» на почетном месте и – о ужас! – оказалось акростихом: «Ланин – дурак».

Пропала кандидатура в городские головы, а потом закрылся и «Русский курьер»!



## «Новости дня»

«Новости дня» вышли 1 июня 1883 года, издатель их Абрам Яковлевич Липскеров в это время был стенографом у М. Н. Каткова в «Московских ведомостях».

Он числился по паспорту подмастерьем пестрядинного цеха, так как, будучи евреем, не имел права жительства в Москве. М. Н. Катков уже позднее выхлопотал ему почетное гражданство и газету.

Газета вначале была малозаметной. Редакцию трудно было отыскать – часто переезжала она с места на место, и типографии менялись то и дело: задолжали – и в другую!

Газета в первые годы шла слабо, печаталось две тысячи экземпляров, объявлений платных почти не было, кредита никакого, бумагу покупали иногда на один номер, а назавтра опять выворачивайся, опять занимай деньги на бумагу.

Сотрудникам платили по грошам и то редко наличными, но никто не уходил, – голодали, да работали. Сам Абрам Яковлевич был очень мил и симпатичен, его бедность была налицо, и всякий старался помочь ему, а он надеялся на успех и сыпал обещаниями:

– Вот пойдет газета – тогда другое дело! Всех сотрудников обеспечу, ничего не пожалею. Разве я не отдаю теперь последнее?

Действительно, он делился с сотрудниками последним.

В «Новостях дня» я за все время их существования постоянно почти не работал, но первые годы по усиленной просьбе А. Я. Липскерова помочь ему давал иногда интересный материал, и он действительно платил, как умел.

Мне как-то причиталось получить сорок рублей с редакции.

– Нет ни копейки! Повесь меня вот на ламповый крюк и бей палкой, может быть, червонцы из меня посыплются! – заявил мне А. Я. Липскеров.

– Абрам Яковлевич, да мне надо штаны и пальто купить!

– Ну вот, давно бы так и говорил! На, покупай! – и написал мне письмо в магазин готового платья «Аронтрихера» на Петровке, чтобы за счет редакции отпустили товару на сорок рублей.

С магазином А. Я. Липскеров расплачивался объявлениями, а магазин отпускал сотрудникам готовое платье из скверного, гнилого, линючего лодзинского материала.

Иногда приходилось нам получать и наличными, но всегда одним и тем же способом, памятуя одиннадцатую заповедь: не зевай! По крайней мере, так было, когда крохотная редакция и такая же контора помещались при квартире А. Я. Липскерова, на углу Тверской и Газетного переулка, в старинном доме Шаблыкина, в нижнем этаже, имея общий вход с улицы рядом с каким-то портным, изобразившим вместо вывески огромные жестяные ножницы.

Тогда то и дело повторялись стереотипные сценки: приходит сотрудник или заведующий конторой к милейшей барышне:

– Елена Евсеевна, дайте в счет пять рублей. Она открывает кассу и показывает мелочь:

– Около рубля наберется. Погодите, может быть, что-нибудь с объявлений набежит, только не прозевайте, а то Абрам Яковлевич все бегаёт, справляется.

И в этот момент отворяется дверь, появляется в клетчатом старом халате А. Я. Липскеров:

– Как дела, Елена Евсеевна?

– Ничего нет.

– За деньгами? – обращается он к сотруднику.

– Надо бы!

– Ну вот полакомься! – И сует в руку конфету в бумажке.

– Спасибо!

– Пойдем ко мне! – И ведет в квартиру. А там стол накрыт, сидит молодая красивая его жена, кругом толпа детишек и кое-кто из сотрудников. На столе самовар, огурцы и огромное блюдо картофельного салата. Сидят, закусывают, чай пьют, иногда водочки поставят.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.